



---

АВТОБИОГРАФИЯ – БЕСТСЕЛЛЕР



# ВЕРА АЛЕНТОВА

---

ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО



МОСКВА 2022

УДК 792.071.7:929(470)  
ББК 85.334.3(2)6-8  
А48

В оформлении обложки использован кадр из фильма  
«Москва слезам не верит», реж. В. Меньшов  
© Киноконцерн «Мосфильм», 1979 год.

Во внутреннем оформлении использованы:  
фотографии Ксении Засецкой, Аллы Четвериковой  
и из семейного архива Веры Алентовой.

А также кадры из фильмов: «Москва слезам не верит», реж. В. Меньшов,  
© Киноконцерн «Мосфильм», 1979 г.;

«Время желаний», реж. Ю. Райзман,  
© Киноконцерн «Мосфильм», 1984 г.

Фотопробы Веры Алентовой к фильмам «Гранатовый браслет»,  
«Директор», «Такая короткая длинная жизнь» и др.;

Фотографии из архива Московского драматического театра  
имени А. С. Пушкина;

Фотографии из архива Школы-студии (института)  
имени Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени А. П. Чехова.

### **Алентова, Вера Валентиновна.**

А48      Все не случайно / Вера Алентова. — Москва : Эксмо,  
2022. — 544 с. — (Автобиография-бестселлер).

ISBN 978-5-04-159459-6

Вера Алентова, редкой красоты и элегантности женщина, рассказала о себе то, о чем большинство звезд обычно предпочитают не распространяться. Шокирует, что великая актриса вовсе не боится показаться нам смешной, ошибающейся, слабой, а подчас и отчаявшейся. Так пронизировать над собой могут лишь совершенные люди с необыкновенно светлой душой и любящим сердцем.

Прекрасная история прекрасной жизни захватывает с первой страницы. Сколько судеб пересеклись с судьбой Веры Валентиновны! И для каждого актера, режиссера, коллеги по работе и друга она находит добрые и очень точные слова. И, перевернув последнюю страницу, вдруг понимаешь: Вера Алентова в оscarоносном фильме «Москва слезам не верит» сыграла саму себя: простую девушку, которая прошла по жизни с любовью, достоинством и оптимизмом, всего добившись сама.

УДК 792.071.7:929(470)  
ББК 85.334.3(2)6-8

ISBN 978-5-04-159459-6

© Алентова В.В., 2022  
© Киноконцерн «Мосфильм», кадры из фильмов  
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

*5 июля 2021 года умер Володя,  
закатилось мое солнышко.*

*Книга написана за год до...*



# Пролог

Сейчас 2019 год, июнь, мне — семьдесят семь. В сорок пять я уже получала предложение написать книгу — была в те годы на пике популярности, «Москва слезам не верит» с триумфом прошла в кинотеатрах нашей огромной страны, картина уже получила множество наград, «Оскара» в том числе. Вышел на экраны и фильм «Время желаний» Юлия Райзмана, где я сыграла главную роль, — и снова награды и внимание публики... Но предложение написать книгу застало меня врасплох. Книга?.. О себе?..

Конечно, я видела в магазинах и киосках немалое количество актерских биографий, напечатанных в журнальном формате, мягкой обложке и часто на плохой бумаге. Но мне казалось, это какое-то странное поветрие, дань мимолетной моде. О времени и о себе пишут солидные люди или биографы — о тех, кто оставил яркий след в истории. А я?.. Что я? Я еще ничего особенного не сделала, я еще только озираюсь, осознаю, начинаю... Конечно, Пушкин в тридцать семь уже покинул этот мир, а роскошная Грета Гарбо в тридцать шесть перестала появляться на публике и больше никогда не снималась. Но я-то в свои тридцать семь только начала завоевывать киноэкраны!

Предложение написать книгу поступило, когда у меня уже был большой опыт работы на сцене, много сыгранных главных ролей. Я — актриса, и в первую очередь актриса театральная. А писательство... Писательство казалось мне

чем-то противоположным актерству, иным способом осмысления жизни. Единственный мой тогдашний литературный опыт — многочисленные правки в интервью, которые присылались на утверждение. За годы шестивия моих героинь по киноэкранам интерес к актрисе, их сыгравшей, не утихал, интервью брали часто, и я вносила правки, чтобы сохранялась моя интонация. Но интервью — это живой, сиюминутный разговор, книга же — нечто фундаментальное. Нет, я абсолютно не готова, решила я тогда. И понимаю теперь, решила правильно.

В 2019 году умер Сергей Юрский. Среди многих прекрасных слов о нем в прессе и соцсетях мне попало его стихотворение, написанное в 1979-м. Боже мой! Как это похоже на меня! Юрскому было тогда сорок четыре года, и в его жизни уже случилось так много важнейших событий... Но он их не заметил! Или не придал им должного значения?

Стихотворение меня ошеломило, даже ранило.

*Все начнется потом, когда кончится это  
бесконечное, трудное, жаркое лето.  
Мы надеемся, ждем, мы мечтаем о том,  
чтоб скорее пришло то, что будет потом.*

*Нет, пока настоящее не начиналось.  
Может, в детстве, ну в юности самую малость  
Может, были минуты, ну, дни, ну, недели...  
Настоящее будет потом, а на деле*

*На неделю, на месяц и на год вперед  
столько необходимо-ненужных забот,  
столько мелкой работы, которая тоже  
никому не нужна, нам она не дороже,  
чем сиденье за скучным и чуждым столом,  
чем мельканье чужих городов под крылом.*

*Не по мерке пространство и время края,  
самолет нас уносит в чужие края.  
А когда мы вернемся домой, неужели  
не заметим, что близкие все почуждели?*



*Я и сам почужел.*

*Мне ведь даже неважно,  
что шагаю в костюме неважно отглаженном,  
что ботинки не чищены, смято лицо,  
Что на встречах, на женщин, гляжу с холодцом!*

*Это не земляки, а прохожие люди,  
это все к настоящему только прелюдия.  
Настоящее будет потом. Вот пройдет  
этот суетный, мелочный, маятный год,  
и мы выйдем на волю из мучавшей клетки.  
Вот окончится только тысячелетье...*

*Ну, потерпим, потрудимся, близко уже  
В нашей несуществующей сонной душе  
все уснувшее всхлипнет и с криком проснется!!  
... Вот окончится жизнь – и тогда уж начнется...*

Как похоже на мое ожидание главного в жизни и совершеннейшее небрежение к происходящему в сию минуту! Небрежение к событиям важным! Неповторимым! Значительным, изменившим жизнь! Конечно, в каждом случае найдется масса объективных причин этого небрежения, но главным образом так происходило именно потому, что казалось, *все начнется потом!*

Что же теперь, мое «потом» наступило?

Когда пару лет назад снова последовало предложение написать книгу, я вяло подумала, что, пожалуй, стоит. Возник вариант работы с соавтором (не секрет, что многие мемуары людей известных — надиктованный рассказ, который обработал редактор). Но я понимала, что работать с соавтором не решусь — чужая интонация не всегда точна. Да и диктовать свой текст тоже казалось идеей странной. Словом, размышляла я еще пару лет.

Но когда прочла стихотворение Юрского, я то и дело стала к нему мысленно возвращаться и однажды поняла окончательно — время пришло. Я готова вспомнить про-

шедшее и, главное, осмыслить и оценить его по достоинству.

Решила писать сама. Допускаю, что с запозданием. Скажем, в пятьдесят лет и память еще не играет с нами в прятки, и воспоминания, наверное, ярче, и мысль легкокрыла. А с другой стороны, когда 80-летнего Сомерсета Моэма спросили, совершал ли он серьезные ошибки в жизни, последовал ответ: да, одну, когда в шестьдесят написал книгу «Подводя итоги». И хотя он — великий писатель, а я — актриса, пытающаяся преуспеть на чужом поприще, слова этого мощного, остроумного старика рассмешили и придали сил.

С того времени, когда мне впервые предложили написать воспоминания, утекло много воды. Стала другой страна, издается много разных книг, но главное, теперь любой может напечатать свою и, что удивительно, находятся читатели даже для совершенной чепухи! И это тоже вдохновляет, снимает ответственность, развязывает руки.

Еще одно важное открытие убедило сесть за книгу: оказалось, что выражение «врет, как очевидец» на сто процентов верно!

Однажды мы с мужем вспоминали какое-то событие нашей жизни и выяснилось, что мы его помним до такой степени по-разному, что второму участнику и узнать-то его практически невозможно. Более того: когда к нам присоединилось молодое поколение в лице нашей дочери и мы стали вспоминать события, участниками которых были все трое, дело дошло до шумных споров. В наших воспоминаниях не обнаружилось практически ничего общего.

Да как же так? Почему?

Я это поняла, но не сразу, позже.

Проблема вовсе не в том, что каждый приукрашивал факты в свою пользу или преувеличивал собственную роль в этих историях: проблема — в личностном восприятии. А личности мы настолько разные, что оказалось, и вспоминаем, и оцениваем факты по-разному. Я вдруг поняла,

что «очевидец» не врет, что голых фактов в воспоминаниях не бывает, — они наполнены воздухом времени, окрашены возрастом, настроением, сиюминутным течением мысли и даже запахом. Так что, смирившись с многолетним заблуждением, что семья — это нечто единое в воспоминаниях, и заранее согласившись, что и сама могу быть неточной, легко берусь за эти записки о времени, в котором родилась, жила и пока еще живу.



# Детство

## Мой Север

**Я** родилась на Русском Севере и прожила там пять с небольшим лет. Потом еще четырнадцать вместе с мамой колесила по стране, жила в разных городах нашего огромного Советского Союза: на Украине, в Узбекистане, в средней полосе России. Наконец, я остановилась в столице и задержалась в ней надолго. В Москве прошла вся моя сознательная жизнь, появились на свет моя дочь и внуки, но Север никогда не покидал меня: он притаился и неизменно присутствовал в моей жизни, пусть и странным образом. Он отзывался в сердце, когда приходилось слышать: «Архангельск», «Вычегда», «Котлас», «Северная Двина», «Вологда», «Великий Устюг», «Сухона», «Печора»... Или, например, «шанежки», «вологодское масло»...

В памяти не возникали образы, эти названия обозначающие, — это просто были знакомые слова, от которых на душе становилось тепло. Их я слышала от мамы, когда была совсем маленькой, а потом, пусть и нечасто, они могли прозвучать с телеэкрана, попадались в книгах — и всегда были родными. А если их произносил случайный человек, то и он сразу становился ближе, хотелось узнать о нем больше — я даже могла поделиться с таким человеком сокровенным переживанием.

Северная Русь жила во мне всегда, я считала ее своей малой Родиной. Не раз мне выпадала возможность почувствовать гордость за свои корни, так случилось однажды в Бельгии.

В 1981 году на международном кинофестивале в Брюсселе мне присудили приз «Лучшая женская роль» за «Москва слезам не верит», но побывать там я не смогла — была на гастролях. Однако организаторы фестиваля настояли, чтобы я все-таки приехала в Брюссель позже и получила награду. И это неудивительно, европейцы в те годы относились к Советскому Союзу и нашему искусству с любопытством.

По случаю моего приезда даже открыли ратушу, куда в обычные дни посетителей не пускали, и мэр города в торжественной обстановке лично вручил изящный приз «Сан-Мишель». Публика разглядывала меня изумленно, едва ли не разинув рты. Я понимала, конечно, что о жизни в СССР бельгийцы знают мало, но все-таки удивилась такому пристальному вниманию.

Это была одна из первых моих поездок за рубеж, но со временем я привыкла к дремучести дальнего зарубежья. Особенно после того, как в Канаде милая дама, осмелев от выпитого бокала вина, призналась, что очень удивилась, когда увидела в фильме наши дома, улицы и, собственно, меня. На мой вопросительный взгляд дама доверительно ответила: «Мы были уверены, что в России все засыпано снегом, очень холодно, медведи ходят по улицам, а люди одеваются в шкуры». Я вначале подумала, что дама неудачно шутит, но она целый вечер восторгалась, что одета я по-европейски и у нас есть многоэтажные дома.

В Брюссель я прилетела одна, без какого-либо сопровождения, и не была узнана человеком, встречавшим меня в аэропорту. Дело в том, что к тому времени мои волосы из темно-русых, как в «Москве...», превратились в светлый блонд — съемки в новом проекте требовали сменить цвет.

Получив багаж, я стояла, неуверенно озираясь по сторонам, и только тогда встречающий обратил на меня внимание. Он подскочил и спросил по-французски, я ли это. Убедившись, что я — это я, он долго извинялся, что не узнал, удивлялся, что у меня светлые волосы, а после поинтересовался, где же люди из КГБ. Французский мой был весьма

слаб, но восторг бельгийца, нашедшего наконец гостью из Москвы, оказался так велик, что я почти все поняла.

Визиту советской актрисы было уделено много внимания в прессе. Возможно, еще и потому, что на фестивале случилось происшествие: кто-то сорвал флаг СССР у кинозала, украшенного знаменами стран-участниц. Писали много и о моем «элегантном образе», и об отсутствии сопровождающих из КГБ.

Свой первый международный приз мне захотелось отметить — сделать себе брюссельский подарок. И вот, увидев в витрине небольшого магазинчика очаровательное платье, я решила его купить, если, конечно, вещь окажется впору и денег хватит — валюты у меня было совсем немного, а приз денежной составляющей не предполагал.

Примерив платье, я показала переводчице, мол, как оно смотрится? Незнакомую речь услышали продавщицы, заинтересовались покупательницей, а узнав, что я русская, удивленно зашебетали, сбегали в соседний отдел, привели с собой еще коллег и все вместе уставились на меня. Я им явно понравилась, платье сидело хорошо, и восторженные взгляды продавщиц окончательно разрешили мои сомнения по поводу покупки.

Когда я уже собиралась уходить из магазина с платьем под мышкой, меня спросили через переводчицу: «Признайтесь, вы ведь не русская? Все русские черноволосые, низкорослые, широкоплечие, а вы — высокая, тоненькая и беленькая». Мне было обидно услышать такое мнение о наших женщинах, и я с гордостью расхвасталась, что совершенно точно отношусь к «русской популяции», потому что в северные края, откуда я родом, и татаро-монголы не дошли за 300 лет ига, и немцы за пять лет войны. Так что я — коренная, исконно русская. И не верьте никому, сказала я, совсем не смущаясь, русские — очень красивая нация.

Почти через полвека после того, как я покинула Север, мне удалось показать мужу свою малую Родину. Это путешествие отозвалось в сердце знакомым разговором, как у моей

мамы, и встречей со сказочной природой. Мы приехали зимой, город моего деда был сверкающим и бело-голубым от мягкого снега и ледяных веток замерзших деревьев. Он казался бескрайним. В необъятном снежном пространстве едва угадывалась вставшая река Сухона, ледяная и строгая. А еще из-за множества храмов, таких же белых, как снег, город предстал перед нами величественным и гордым. При встрече с людьми неспешными, теплыми и радушными, так непохожими на вечно спешащих москвичей, вспомнилось мамино: «У нас двери ни у кого не запирались, наоборот, если из дома уходили, то ставили метелочку у порога: мол, нет никого дома, заходите в другой раз!» Простодушие, доверчивость и строгость — это, мне кажется, отличительные черты северян. Они были свойственны моей маме и в какой-то степени передались мне.

## Что осталось в памяти

**У**ченые мужи пишут, что ребенок запоминает события только после трех лет, а более ранние воспоминания основаны на пересказах взрослых. Но мои самые первые воспоминания относятся к совсем раннему периоду моей жизни и пересказать мне их было некому...

Я родилась в 1942 году в городе Котласе, где работали актерами мои мама и папа. Шла война. Самое первое воспоминание — это скорее ощущение добра, заполнившего пространство вокруг. Оно ко мне ласково, мне в нем хорошо, тепло и спокойно, хотя сейчас меня куда-то несут в пеленках. Мне не страшно, ну, несут и несут. Оказалось, принесли показать раненому соседу, почти мальчику. Несла меня его мама, я помню расположение комнат, помню часть обстановки у нас и соседей, где на кровати лежит этот раненый мальчик, а его мама сажает меня ему на грудь, покрытую белой простыней, и щебечет, щебечет, как птичка, стараясь порадовать сына. Я мала настолько, что еще не умею стоять, да и сидеть еще не очень могу — меня поддерживают под

спинку. Но, что удивительно, я все понимаю. Я в светлых пеленках — тоже, видимо, из старых простыней, — и просидела я так совсем чуть-чуть, потому что щебечущая мама, смеясь, вдруг меня подхватила и с возгласами «ай-ай-ай!» быстро понесла обратно к нам в комнату. Вокруг — несколько чужих людей (моей мамы не было), и все смеялись, и раненый мальчик тоже...

Следующее воспоминание: я уже хожу, еще плохо, но хожу — на общей кухне, вокруг старого обшарпанного табурета. Фанерное сиденье его от времени и влаги стало серо-белым, а углы расслоились. Стоит табурет посреди кухни и служит, как я теперь понимаю, подставкой для таза, когда надо постирать. Одной рукой я держусь за табурет, другой пытаюсь достать маленький, тоненький леденец голубого цвета на противоположном от меня краешке табурета. Не без труда мне это удастся, и леденец быстро отправляется в рот — но... увы, леденцом оказывается простой обмылок. Отвратительный вкус его я помню до сих пор... Хотя я совсем мала, рядом никого нет, пожаловаться некому. И я справляюсь с разочарованием сама, выплюнув обмылок и вытерев язык рукавом.

...Я уже чуть постарше, но снова одна, а на столе — каша. Мама оставила и очень просила перед уходом, чтобы я обязательно позавтракала. Почему-то я заперта на ключ: наверное, меня оставили одну ненадолго. И я бы рада позавтракать, но из-за угла печки выглядывает мышь и сверлит меня глазками-бусинками. Я ее боюсь. Живем мы в бревенчатом доме, почерневшем от старости: родители снимают здесь комнату, это тот же дом, где был раненый мальчик. Я плачу у запертой двери, кто-то из соседей успокаивает меня советом: топни ножкой, и мышка убежит. И я топаю, а она не только не убегает, а, поняв, с кем имеет дело, быстро движется к столу, вскарабкивается на столешницу, забирается на граненый стакан, на дне которого осталась капля молока, и, как заправская гимнастка, упираясь изнутри в стенки стакана всеми четырьмя лапками, выпивает эту каплю. А я, оцепеневшая от страха, вижу сначала ее распростертый жи-



вот во всей красе, потом мгновенное возвращение из стакана на стол, потом краткое раздумье, со взглядом сначала на кашу, потом на меня, и, наконец, решительное возвращение тем же путем в родные пенаты — за печь!

Неожиданно приходит бабушка — папина мама, вот почему я одна и заперта: бабушка запоздала. Я ее очень люблю, и сразу все становится на свои места, а главное, понятно, что мышь даже кончика своего ужасного голого хвоста не высунет из-под печки, потому что, если бабушка топнет ножкой, от мыши мокрого места не останется. И мышь это наверняка знает. Бабушка предлагает мне съесть кашу, но, получив решительный отказ приближаться к месту, где наслаждался остатками молока мой страшный враг, сама с удовольствием ест кашу под мой трагический рассказ о непозволительном поведении мыши. А дальше помню, только уже вечером, мамин вопрос, ела ли я кашу, мой рассказ о благородном отказе и мамин тяжелый вздох.

Я никогда не голодала в детстве: но, уже будучи взрослой, по некоторым сдержанным маминим рассказам поняла, что жизнь наша была в те времена нелегкой. Съеденная бабушкой детская каша и досталась маме непросто, и не улучшила ее отношения к бабушке.

...Еще в этом доме помню свою няню, немолодую худенькую женщину, и ее ухажера, который курил вонючую махорку. Однажды на мою просьбу тоже попробовать покурить он ответил согласием и очень долго смеялся надо мной, надрывно кашляющей, и усы его, рыжие от табака, смеялись вместе с ним. Помнится даже, что внутри меня звучал невысказанный вопрос: как такое могло произойти? Ведь я ребенок — взрослый не должен был так поступать с ребенком!.. Помню, как мы с няней расставались, и на прощанье она подарила мне жестяной сундучок. Он еще очень долго присутствовал в нашей жизни: мама держала в этом сундучке нитки мулине.

Про папу помню только очень короткий эпизод, как он держал меня за руку и мы с ним гордо шли вдвоем в ларек пить пиво. Он дал мне глотнуть из кружки, и пиво мне

очень понравилось. Помню, что было лето, стояла теплая погода и мужчин было довольно много, но почему-то, к моему удивлению, все без детей...

Помню тетю Клашу и дядю Мишу, очень близких мне людей, они тоже жили в Котласе. Их я помню хорошо еще и потому, что часто бывала у них в гостях ребенком, а последний раз была уже достаточно взрослой, в 14 лет. Тогда я узнала, что тетя Клаша — родная сестра моего деда по маминей линии, а значит, она мне бабушка. Но сама тетя Клаша с этим категорически не соглашалась, уверяя, что по каким-то там правилам, неясно каким, она мне именно тетя: и правила эти действуют до седьмого колена. Думаю, все дело было в том, что ее муж был моложе тети Клаши на 13 лет.

История их любви непростая. Когда-то тетя Клаша работала учительницей, и была она старой девой тридцати семи лет. И вдруг в их женский школьный коллектив затесался, бог знает каким образом, дядя Миша. Было ему в ту пору двадцать четыре года и, хотя в коллективе имелись особы помоложе, влюбился дядя Миша смертельно именно в Клавдию и сразу замуж позвал. Клавдия долго стеснялась и сопротивлялась, но, наконец сдавшись, стала просить благословения на брак у старшего брата — моего деда. Дед разрешения не дал и, казалось, закрыл тему словами: «Когда ни зуба во рту, ни волоса во лбу, дурить нечего». Но благородный молодой влюбленный не отступился и все-таки Клашу уговорил, и повел в загс, и прожили они вместе долго и счастливо.

Та последняя встреча с тетей Клашей и дядей Мишей оказалась теплой и познавательной. В Котласе я не была с тех пор, как мы с мамой его покинули — то есть примерно десять лет. И деревянные мосточки, которые служили тротуарами, отозвались давним, родным ощущением ходьбы по ним моими маленькими ножками.

Из маминых рассказов я знала, что Клаша очень боится грозы и пребывает в уверенности, что грозы боятся и ее поросята: их она держала в погребе и относилась к ним как к детям. Поросята были худенькие, на высоких ножках, и

Клаша носила их на руках, когда они болели. Куда девались поросята, вырастая, непонятно: ведь о том, чтобы зарезать и съесть поросят, не могло быть и речи!

Как-то при мне загремел гром, и тетя Клаша побледнела, быстро накинула платок на плечи, сунула ноги в галоши и выбежала на улицу. Она спустилась в погреб к своим любимым поросяткам, чтобы они не испугались, да и самой не грех успокоиться и пересидеть грозу в безопасном месте. Молчун дядя Миша по-доброму посмеивался над женой, но Клашу это не смущало. Детей у них не было и, может быть, таким странным образом Клаша удовлетворяла потребность в материнстве, кто знает...

Издали мне показали сгорбленную старуху, идущую с палкой в руке и рюкзаком-мешком за спиной. Мне сказали, что именно она заговорила мою младенческую грыжу — пошептала что-то над детским тельцем, и я наконец спокойно заснула. Эта история мне уже была известна от мамы. Когда я родилась, то много плакала, и молодые родители решили свозить меня в Великий Устюг к маминому папе — Николаю Александровичу Алентову. Он служил врачом, поначалу земским, а потом по специальности — невропатологом. Мама меня привезла, дед посмотрел, послушал жалобный плач и вынес вердикт: это пупочная грыжа, официальная медицина ее не лечит, неси к бабке — может, заговорит! Кинули клич, бабку нашли в родном Котласе, она пошептала, и мой бесконечный плач прекратился. Зная эту историю и увидев ту самую старуху с палкой, мне захотелось подойти к ней, поблагодарить и напомнить о себе... Но Клаша сказала, что делать этого не стоит: старуха давно «не в себе», да и меня не вспомнит — не потому, что я выросла, а потому, что многим младенцам что-нибудь заговаривала, всех не упомнишь. Я с жалостью смотрела на удаляющуюся сгорбленную спину старухи и мысленно посылала слова благодарности ей вслед.

Дядя Миша был полной противоположностью тети Клаши. Та болтала без умолку, попутно стряпая, штопая и глядя

постельное белье на узкой ребристой доске-рубеле: такую теперь можно увидеть разве что в музее народного быта. Клаша любила гладить именно так, скалкой на ребристой доске, хотя у нее было два утюга: один на углях, другой тяжелый, чугунный. Клаша то и дело бегала к пороссятам, выпрашивала меня про нашу жизнь в большом городе и по чуть-чуть рассказывала про свою, показывая старые фотографии на плотной картонной основе. Внизу, под фото в золотых вензелях можно было прочесть адрес фотоателье и фамилию его владельца...

На одной из фотографий я увидела совсем молоденькую Клашу с длинной косой, в форменном гимназическом платье и высоких шнурованных ботиночках. Окружали ее три импозантных молодых человека. Я стала спрашивать, и тетя объяснила, что на фото она с братьями: это Николай — твой дед, самый старший, это Палладий и Виталий. О существовании Палладия и Виталия я не знала ничего, очень удивилась и попросила рассказать о них подробнее, но Клаша как-то вдруг засуетилась, сказала: потом, потом... И я поняла, что по какой-то причине ей не хочется говорить на эту тему, и больше ее не спрашивала.

Дядя Миша был чуть ли не в два раза выше Клаши, неторопливый, молчаливый, доброжелательный розовощекий мужчина. На работу он уходил, когда я еще спала, а вернувшись, садился обедать под щебет Клаши. Она ему подавала и рассказывала про свой день — сама уже давно не работала, но рассказать ей всегда было что. Дядя Миша ел и кивал, после трапезы доставал газеты и неторопливо, внимательно читал, по-прежнему не произнося ни слова. Понаблюдав за этим несколько дней, я решила просить: дядя Миша, скажите что-нибудь! Ответ меня изумил: а о чем, Верочка, говорить? Задан вопрос был серьезно, и дядя Миша, глядя мне в глаза, спокойно и внимательно ждал предложения *темы*. Я растерялась, но как-то сразу поняла, что Клашин щебет он за разговор не считает и руководствуется принципом: уж если говорить, то о чем-то стоящем.

## Первая обида

**М**альшкой я любила бывать у них в гостях, где могла поделиться своими детскими новостями. Помню, как дядя Миша везет меня на санках по скрипучему снегу, на улице уже темно, и снег искрится под зажженными фонарями. Мы подъезжаем к дому, и я, хитрюга, делаю вид, что заснула. Меня достают из санок, вносят на руках в дом, раздевают и укладывают спать в теплую постель. Меня здесь любят! Мне у них всегда хорошо. Но однажды...

Однажды я гуляла во дворе и, с большим трудом взобравшись на горку, оторвала от общей наледи на крыше сарайчика понравившуюся мне большую сосульку. Принесла сосульку в дом: чтобы не на улице, а в комфортных условиях с хрустом ее съесть. Но наступило время дневного сна, и тетя Клаша предложила съесть сосульку, когда я проснусь, а пока положить ее на блюдечко и поставить погреться в русскую печь. (У Клаши была русская печь, и она умело орудовала ухватками разной величины.) Предложение Клаши подогреть сосульку мне показалось разумным, и, будучи человеком покладистым, я согласилась. Мы вместе нашли большое блюдце, вместе положили на него сосульку и засунули поглубже в остывающую печь. Я со спокойной душой пошла спать, а проснувшись, сразу вспомнила, какое лакомство меня ждет. Подпрыгивая от нетерпения, я подбежала к печке, Клаша открыла полукруглую дверцу и достала блюдце... с водой!

Я долго-долго выясняла, где же моя сосулька? Не веря в непоправимое, я пыталась сосульку отыскать в печке, и в моей детской голове никак не укладывались слова: она растаяла!

Родные добродушно посмеивались над моими поисками и в который раз с улыбкой говорили, что это она и есть, моя сосулька: она от тепла превратилась в водичку! И я вдруг поняла: взрослые *знали*, что так будет, знали уже тогда, когда мы вместе ставили блюдце в печь. Они меня обманули. И этот их добродушный смех — абсолютное тому подтвержде-

дение! Я горько зарыдала. Меня пытались утешить сказкой, что сосулька сама так решила и растаяла, потому что она холодная, а детям холодное нельзя — будут болеть горлышко и ушки. Утешения не подействовали — я продолжала рыдать. Я не была капризным ребенком и плакала редко. Дети войны — особые дети, они рано взрослеют и все понимают с первого раза. И потому мое поведение сначала удивило, а потом напугало моих родных. Рыдать я не прекращала и рыдала так долго, что дядя Миша собрался на улицу принести мне другую сосульку. Я предложение отвергла и продолжала горько плакать. Они так и не поняли, что рыдала я не о сосулке! В памяти не осталось, как закончилась для меня эта горестная история, но ощущение глубокой обиды и обманутой доверчивости помню до сих пор.

## Другой дом

Следующее мое котласское воспоминание относится уже к другому дому, тоже одноэтажному, но не бревенчатому, а из серого кирпича. Мы с мамой там живем почему-то только вдвоем: ни папы, ни няни нет — есть соседи, и в их половину дома отдельный вход, но из нашей комнаты к ним имеется дверь, напоминающая, что когда-то наша и соседская половины были общими. Теперь дверь всегда заперта. Зато под дверью есть узкая щель, в нее соседские дети просовывали мне игрушечную посуду: алюминиевые тарелочки и сковородки. Кастрюлька, увы, не пролезала. Так мы подолгу играли и переговаривались, прижимаясь щекой к полу, чтобы увидеть друг друга.

Дом — новый, светлый. У нас с мамой большая чистая комната и даже в небольшом коридоре — кухня со шкафчиками. Не ободранными, как тот табурет и вся остальная мебель в старом доме. Теперь у нас все новое и только наше с мамой. Соседей в этом пространстве не было, и мышей тоже...

Но!!!! Там бывал ВОЛК!

Думаю, было мне тогда года четыре, и я оставалась одна, когда мама уходила на работу. И в этот момент как раз и появлялся ОН! Ну, как появлялся: я его лично не видела, но присутствие его чувствовала и маму в свои переживания посвятила. Поэтому всякий раз перед уходом на работу она брала меня на руки и мы с ней открывали все ящики в коридоре-кухне. Мама спрашивала: «Вот видишь? И здесь волка нет», — а каждый из ящиков был и в самом деле совершенно пуст. Я не могла этого не признать, так что отвечала: «Вижу!» Мама со спокойной душой уходила на репетицию... и тут случалось нечто непостижимое. Волк все-таки оказывался в кухне в одном из ящиков! Нет, я его по-прежнему не видела, но точно знала, что он там как-то оказался и что-то замышляет...

Во дворе нового дома папа соседских детей построил чудесную снежную горку, высокую и длинную. На санках или с картонкой под попой можно было кататься до тех пор, пока вдруг не увидишь, что санки почему-то валяются перевернутыми у входной двери, картонка давно куда-то делась, спина зимнего пальто на вате превратилась в толстую ледяную корку, варежки на резинке — тоже, а попе так холодно, что, пожалуй, будет нагоняй от взрослых! Жаль расставаться с горкой — ослепительно-белой, искрящейся на зимнем солнце, посередине которой голубая, тщательно раскатанная нами дорожка. Но мы, раскрасневшиеся, мокрые и счастливые, все-таки вынуждены были прощаться: возможно, до завтра, а возможно, до тех пор, пока просохнет пальто на вате.

Помню, что иногда к нам приходили нищие: на фоне деревянных развалюх наш дом выглядел состоятельным и гордым. Однажды, в очень холодный и ветреный день, в нашу дверь постучали. Мама открыла, и я увидела высокую красивую женщину с непокрытой головой, в старом длинном пальто. Она просила дать ей хоть что-нибудь, но у нас самих ничего не было; тогда она распахнула пальто — а под ним... она была совершенно голая. Я испугалась — на ули-

це так холодно, мама ахнула и начала ей что-то из своего все-таки отдавать. Очень бедно люди жили: война вымела из домов все.

## Печали

**К**ак ни странно, заболела я на Севере южной болезнью — малярией. Сильно заболела, и время от времени малярия ко мне возвращалась, последний раз — лет в 12, когда мы уже жили на Украине. Там я попробовала в первый раз дыню, и почему-то именно она вызвала новый приступ болезни. А тогда, в Котласе, мне нужно было принимать очень горькие таблетки, назывались они «акрихин», но я, малышка, пила их безропотно. Достаточно было маме сказать: чтобы выздороветь, нужно принимать лекарство, хотя она и понимает, таблетки горькие, и очень мне сочувствует...

Любое слово мамы для меня было законом: и потому, что я любила маму какой-то боготворящей любовью, и потому, что дети военных лет будто и не дети вовсе. Все понимали с первого раза. Удивительно: на Севере военные действия не велись, но дети, даже совсем маленькие, будто чувствовали, что какая-то большая беда витает в воздухе. Никаких капризов, непослушаний, уговоров купить игрушку или сладости: это были почти взрослые люди, только маленького роста. У меня сохранилась фотография группы детского сада тех лет: я с бантом на голове. Бант завязать было невозможно — волосы очень коротко стрижены, а без банта тоже никак нельзя — подумают, что я мальчик. Поэтому воспитатели бант завязали отдельно, положили мне его на голову и велели не шевелиться. Я очень хорошо помню, что ситуацию понимала и довольно долго стояла, как солдат на посту, не шелохнувшись.

Горькое лекарство следовало принимать по часам. В часах я еще не разбиралась, и мама, уходя на работу, показывала на будильнике, где должна быть большая стрелка, а где маленькая. Будильник и лекарство стояли на стуле возле



кровати, и я все время тревожно посматривала на циферблат, боясь пропустить момент, когда будет пора...

Детский сад запомнился добрыми и внимательными воспитательницами, в основном ленинградками. В Котласе вообще оказалось много эвакуированных из Ленинграда, и далеко не все спешили после войны вернуться в свой оголодавший город. Когда нам с мамой пришлось покинуть Котлас, одна особенно нежная и милая воспитательница подписала мне фотографию, на которой она запечатлена в окружении нас, детсадовцев. Текст такой: «Помни, Верочка, детский сад и Марию Семеновну». И я ее помнила, помнила долго: она была молода, хороша собой и очень добра. После Котласа я оказалась в детском саду Кривого Рога, города, который два с половиной года находился под немецкой оккупацией. Там воспитатели были нервные, на детей покрикивали и особой заботой не окружали. Нас даже отпускали гулять без присмотра, «чтобы только недалеко от садика». А гулять мы предпочитали на развалинах взорванного дома, о чем воспитатели даже не догадывались. Взрослые были суровы, а мы — беспечны. Там, на развалинах, мы пели, кто в лес, кто по дрова: «Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая...» Военная тема в те годы была главной, в Котласе, например, мы пели в детском саду про героя Щорса: «Шел отряд по берегу, шел издалека, шел под красным знаменем командир полка! Голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве...» В детсаду пели хором, а дома, стоя не табурете, я демонстрировала взрослым свое умение солировать. Меня с удовольствием слушали и хвалили.

Печального в нашей жизни было немало. Помню, как сильно заболела мама: соседи вызвали «Скорую помощь», и маму забрали в больницу. Я стою на стуле, смотрю в окно, вижу, как носилки с мамой заносят в машину «Скорой». По радио поют песню: «Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги...». Я совершенно одна. Потом пришла, как мне показалось, тетя Клаша, и я со своего стула на всякий случай

спросила: «Вы тетя Клаша?» У пришедшей была большая выпуклая родинка на щеке, как у моей тети. Но женщина ответила: «Нет!» Продолжение этой горькой истории я не помню совсем — оно на этом месте резко обрывается, но переживание оказалось настолько сильным, что песню «Эх, дороги...» я не могла слышать лет до тридцати.

Из Котласа выбирались на пароходах — город расположен на слиянии рек Вычегда и Северная Двина. В детстве я пароходов побаивалась, потому что они трубили очень громко и неожиданно. Но одна из поездок обещала быть замечательной — плыли мы с мамой на гастроли, и мама тому очень радовалась, а мне передалось ее чудесное настроение. Запомнилось теплое лето, на палубе многолюдно, но весело. Трубы по-прежнему пугали меня то низкими и протяжными, то высокими и верещащими гудками. Но настроение было прекрасным! Увы, ненадолго.

Я заболела скарлатиной, и, значит, меня нужно снимать с парохода в первом же городе, куда мы причалим, и класть в больницу. А мама должна плыть дальше: гастроли отменить невозможно, она ведущая актриса театра, играет все главные роли. Город, куда причалил пароход, — чужой, в нем нет даже знакомых... Помню, как волновалась мама и как сказала мне, что, по счастью, здесь в командировке еще 3—4 дня будет ее подруга тетя Тоня, она меня обязательно навестит, а потом мне придется довольно долго побыть одной, пока мама не заберет меня после гастролей. Я все понимала и кивала. И вот меня сняли с парохода, а мама поплыла дальше, и действительно пришла тетя Тоня, только ее ко мне не пустили — в больнице был карантин, — отдали от нее передачу и велели подойти к окну... Я подошла и увидела из окна, как она стоит на пустыре и машет мне рукой. Но мне было все равно: я ее мало знала и к тому же болела тяжело.

Жизнь в больнице оказалась насыщенной и непростой: в палатах лежали дети разных возрастов, и это приводило к конфликтам. Старшие обижали младших, я по возрасту

относилась к последним, младших то и дело переводили в другие палаты, но нигде нам не удавалось прижиться.

Я очень долго ждала маму, а потом перестала ее ждать. У меня болели уши — осложнение после скарлатины, и как-то раз в коридоре, переселяясь в очередную палату с моим нехитрым скарбом, я увидела женщину в мамином пальто. Потом оказалось, что это и была моя мама, но я даже не обрадовалась. Мне было все равно: я немного отупела в этой больнице и научилась ни на что не реагировать.

Помню, что после мы с мамой бежали бегом по тому самому больничному пустырю, где стояла тетя Тоня, и мама, оглядываясь, меня подгоняла. Я узнала позже, что при таком осложнении после скарлатины в ту пору полагалось делать трепанацию черепа за ухом. Но мама на такую операцию была не согласна — и просто выкрала меня из больницы без всякой выписки и документов. Поэтому мы и бежали по пустырю: мама боялась, что нас поймают и меня вернут обратно.

Потом мы плыли на большом пароходе, я плакала, потому что ушки болели сильно, а мама, пытаясь успокоить, носила меня на руках по большому застекленному салону и пела: «У кошки боли, у собачки боли...»

## Мои корни

**И** наче как на пароходе в Великий Устюг к деду не добраться. Дед в Устюге был человеком знаменитым: знали его все от мала до велика — и любили все, даже бандиты. Однажды ночью, когда дед шел на вызов к больному, его обобрала шайка. Но стоило им посветить фонариком деду в лицо, как они ахнули: «Это же доктор Алентов!» — все ему вернули и, извинившись, убежали.

Дед после инсульта был наполовину парализован, но всегда встречал меня на высокой деревянной лестнице второго этажа маленького дома, где он жил со своей второй

женой Павлой Павловной, маминой мачехой. Я вприпрыжку бежала к нему наверх, и он ловил меня своей здоровой левой рукой. Ею же он писал нам с мамой письма: научился после инсульта. Буквы получались необычные: большие, но не круглые, а скорее квадратные и с наклоном влево. Он любил меня, всегда был рад меня видеть, и я прекрасно запомнила две чудесные комнаты, которые занимал дед, — очень солнечные, с обстановкой прошлого века. В столовой — длинный старинный стол, стулья с высокими спинками, этажерки с книгами, высоко на стене — часы с маятником и римским циферблатом. Каждый час они отбивали ход времени; для меня бой часов был нов и чрезвычайно притягателен. В другой комнате-спальне стояла удивительная кровать с периной, пуховыми подушками и таким же одеялом, и я проваливалась в эту пуховую нежность, в беззаботный дневной сон. Я с восхищением рассматривала ковер над кроватью: трех роскошных лошадей, которые неслись с развевающимися гривами!

Однажды на гастролях, уже в XXI веке, я столкнулась с такой же постелью в отеле маленького немецкого городка. Сегодня перины считаются вредными для позвоночника, и все гостиницы мира избегают их. А в этом городке меня ждали невероятно мягкие объятия уютной постели, и я заснула днем таким же безмятежным детским сном, как в спальне деда...

В темном коридоре стоял красивый мраморный умывальник с краном-непроливайкой, один кончик которого смотрел вверх, другой вниз. Можно было заставить воду литься по твоему желанию: или вверх, фонтанчиком, или вниз, как в обычных кранах, а то и вообще никак, если повернуть кран поперек! Это было так занимательно, что я не отходила от умывальника, и меня в конце концов пришлось от него изолировать, пока я не спустила всю воду. Умывальник наполняли сверху: открывали крышку и лили воду в прямоугольную, довольно большую мраморную емкость, точно такую же, как на иллюстрациях детской книжки про Мойдодыра.

Эти детские воспоминания напомнили о себе, когда мы с мужем приехали в Великий Устюг. Неподалеку, в Вологде, отыграли гастрольный спектакль, и принимающей стороне он так понравился, что устроители сделали нам подарок — привезли в Великий Устюг. Наконец-то я смогла показать мужу город моего детства и поклониться праху деда.

Город поразил нас обоих величественной северной красотой. Мы пообщались с человеком, который написал несколько книг об истории Великого Устюга, знал моего деда, когда еще сам был подростком. Он помнил грандиозные похороны доктора Алентова, прощаться с ним вышел весь город, гроб несли на руках до самого кладбища, а путь туда неблизкий. Еще была жива очень пожилая дама, которая помогала деду и его жене по хозяйству и помнила мою маму. Стоял и дом, в котором жил дед, куда я приезжала к нему в гости и за которым находилась водолечебница — дед ее построил для лечения нервных болезней.

Мне очень хотелось, чтобы и младшее поколение познакомилось со своими корнями, увидело эту удивительную северную красоту. Но в то время внуки были малы, а теперь слишком заняты, и недавно мы ездили на Север только с дочерью. Но я все равно радовалась, что могу ходить с нею по дорогим моему сердцу местам: а уж она, я надеюсь, однажды передаст эстафету внукам. Дочь тоже очаровал город множеством прекрасных храмов, людьми, совсем не похожими на москвичей. А еще музеями, где сохранены уникальные костюмы, удивительное оружие, древние карты, веселые прялки, расписанные ярким растительным орнаментом, и еще множество разнообразных мелочей, предметов народного быта...

К сожалению, дом, где жил дед, теперь стоит обветшалый, закрытый прорезиненным полотном, — так государство охраняет памятник архитектуры. Вот только дом деревянный и полотно его сохраняет плохо, а денег на реставрацию у города нет...

Цела и по сей день принимает пациентов поликлиника, где дед проработал всю свою жизнь: на ней власти города

решили установить мемориальную доску с именем деда и годами его службы. Мы очень благодарны за память и поедем на открытие этой доски, как только достроят аэропорт — иначе добираться до Устюга долго и сложно...

Когда я поступила в школу-студию МХАТ, то сразу после экзаменов отправилась в Казань гостить к моим двоюродным сестрам, детям маминого брата Андрея. Со старшей, тоже Верой, мы были одногодками, она в это же время поступила в Казанский политехнический институт, а Ирина, на два года нас младше, заканчивала школу. Там же, в Казани, я познакомилась с еще одним «дядей» — тем самым Палладием, которого раньше видела на фотографии с молодой тетей Клашей. На самом деле Палладий Александрович тоже был мне дедом, так как приходился родным братом Николаю Александровичу Алентову. Но, как и у «тети» Клаши, у казанских родственников принято было называть Палладия дядей.

Когда я пришла к нему в гости, то увидела в коридоре такой же мраморный умывальник с краном-непроливайкой, такие же часы с боем в комнате и пуховую кровать в спальне. Деда уже не было в живых, а меня тут же охватило ощущение перемещения во времени — в эпоху далекого детства. И от всех вещей пахло так же, как и от вещей деда, и, хотя в гости я приехала к младшему поколению, больше любила бывать у дяди Палладия.

Дядя Палладий закончил сельскохозяйственную академию, знал французский язык (откуда — непонятно), внешне — худенький, изящный, с тонкими чертами лица, на него моя мама была похожа чернотой глаз и изогнутой формой ноздрей. Эти ноздри встречаются у членов нашей семьи по сию пору: у меня, у моей казанской сестры Ирины и у моей дочери. У внуков то появляются, то исчезают — видимо, еще не приняли окончательного решения, чьи родовые черты наследовать.

В свое время Палладий отсидел десять лет и, если бы не хлопоты жены, которая прошла всю войну военным

врачом, возможно, и пропал бы в лагерях. Палладий был веселым человеком: казалось, десятилетняя отсидка никак не повлияла на его легкий от природы нрав. Он все время напевал себе под нос что-то по-французски и показывал мне огромные атласы с расчерченными цветными карандашами слоями почвы, которые хранил под потолком на книжных шкафах и которыми очень дорожил. С тех самых пор, как дядю сняли с важного поста в сельскохозяйственной академии и арестовали, жена берегла эти атласы. Она хранила их все годы его ареста, несмотря на военные тяготы, и сберегла до самого его возвращения из лагеря.

Между Палладием и моим дедом существовала негласная вражда. Палладий был обижен, что дед, имея орден Ленина, не хлопотал о его освобождении. А деда в тот год, когда Палладия посадили, лишили должности главного врача и перевели на должность врача обычного. И в его трудовой книжке так и не появилась запись о присуждении ордена Ленина, хотя на всех официальных фотографиях дед с орденом на груди. А без официальной записи и учитывая арест брата, дед боялся лишиться ордена, а там и до тюрьмы недалеко. Какие уж тут хлопоты. Палладий ничего этого не знал, считал положение деда стабильным и обижался, что тот бездействует. Говорить в семье на эту тему было не принято, но шепотом, из уст в уста, история передавалась. Возможно, и Клашино смущение по поводу фотографии объяснялось той же непростой ситуацией.

Больше всего негодовала по этому поводу жена Палладия, тетя Шура, которая билась за своего «Паладьку», как она его называла, в одиночку — заваливала просьбами и требованиями все мыслимые инстанции. Наконец через десять лет она добилась справедливости и вырвала свое сокровище из жерновов страшной машины, перемалывающей человеческие судьбы. Когда я оказалась у них в гостях, тетя Шура была уже грузной старой женщиной, к тому же совершенно глухой. Разговаривать с ней (вернее, кричать в ухо) мог только Паладька, других она не понимала. Его это

нисколько не раздражало и ничуть не мешало радоваться жизни. Детей у них не было, жили они на скромную пенсию. Когда я уехала в Москву и стала писать письма своим вновь обретенным пожилым родственникам, всегда получала ответ от Палладия и иногда — перевод на десять рублей. С припиской: «Не упоминай в письмах о моем переводе». Это, конечно же, было всегда кстати в бедной студенческой жизни, но и трогательно до комка в горле. Выкроить деньги из пенсии, притом, что хозяйство вела жена, Паладьке было трудно: и жену обидеть не хотел, и меня поддержать считал своим долгом!

## О папе

**П**отом в нашей жизни появился Юрий Орлов, новый муж мамы, мы покинули Котлас и уехали в Кривой Рог.

Позже я узнаю, что отношения моих родителей разладились, когда мне исполнилось три года. Папа отправился искать лучшей актерской доли в другие города. Папа был очень красив и, говорят, очень талантлив. Они с мамой учились на одном курсе в Архангельском театральном училище, часто играли вместе учебные сценические отрывки и спектакли. После свадьбы они получили распределение в Котласский драматический театр. Папу это не устраивало с самого начала: он хотел не куда-нибудь, а в Москву!

Я не знаю всех перипетий, но сохранилось письмо, где речь идет о возможности показаться руководству Московского театра на Малой Бронной. Кто-то, видимо, увидел его в спектакле и порекомендовал. Наверное, действительно папа обладал талантом — иначе вряд ли заинтересовались бы актером из глубинки. Но отношения родителей разладились не из-за театра: у папы появилась возлюбленная. Семью рушить папа не хотел, потому держал отношения в тайне, но мама эту тайну узнала и тут же перешла спать на сундук (я помню этот сундук из первой квартиры, где



я училась ходить). Мама положила под подушку большой нож и предупредила папу, чтобы он к ней больше никогда не приближался.

Московская история с театром как-то сама собой сошла на нет, и папа уехал в другой город: не то в Грозный, не то в Кизляр. Маме он сказал, что разводиться не собирается, а как только найдет хорошее место, вызовет нас к себе. Папа думал, что за время его поисков обиды забудутся, но мама думала совсем иначе, она твердо решила расстаться и объявила об этом. Вот тогда мы с ней и переехали в другой дом — где зимой была снежная горка.

Мама порвала все папины фотографии, никогда больше не встречалась с бабушкой, папиной мамой, и впервые я увидела фото отца в 15 лет, когда ее привезла папина однокурсница.

Папа умер внезапно 4 января 1946 года, но в каком городе, от какой болезни, я точно не знаю. Его друзья, когда я уже стала взрослой, написали мне и даже переслали несколько его писем к ним (из которых я и узнала о приглашении показаться в театре на Малой Бронной). Друзья тоже говорили про Грозный и Кизляр, что умер он не то от бруцеллеза, не то от воспаления легких...

Маму его смерть потрясла, она тогда впервые закурила. Несмотря на то что отношения прервались и папа умер для нее на год раньше, смерть его стала шоком. Думаю, невозможно осознать в 28 лет, что молодая жизнь — а они с папой были ровесниками — может оборваться вот так вдруг. Мама была человеком верующим, и, возможно, ее мучило, что она его так и не простила. На мои вопросы о папе она отвечала кратко: сказать нечего — он умер.

Переехав вместе с мамой в другой дом, я тоже перестала видеться с бабушкой, и все связи с отцовской линией оказались разорваны. Но когда я подросла, то заинтересовалась родословной и снова стала обращаться к маме с вопросами. Про своих родных мама рассказывала тоже очень скупой, и позже я пойму почему, а про папиных и вовсе молчала. Все,

что написано выше, я узнала, а вернее — понемногу вытянула из мамы, уже когда выросла. Однажды (я училась на втором курсе и еще носила папину фамилию Быкова) бабушка и папина сестра разыскали мой адрес и прислали мне толстенное письмо. Казалось бы, вот она — возможность наладить с родственниками взрослые отношения, да и о родословной узнать... Но письмо оказалось пронизано ненавистью к маме и было настолько оскорбительно, что в ту же секунду отвратило меня и от людей, его написавших, и от желания что-либо у них узнавать. Я настолько трепетно и безоговорочно любила маму, что письмо, ее порочащее, вызвало во мне только брезгливость.

Повзрослев, я научилась смотреть на жизнь шире. Помогла этому моя профессия актрисы, которая обязывает тебя быть адвокатом роли. Каким бы негодяем и подлецом человек, которого ты играешь, ни был, ты должен считать его правым. И я сумела представить, каково было моим родственникам пережить смерть сына и брата, такого молодого. Для его матери и сестры эта смерть наверняка стала сокрушительной трагедией. Зная мамин характер, уверена, что в свои отношения с мужем вряд ли она кого-нибудь посвящала. Допускаю, что убитые горем папины родные могли винить маму за его отъезд в другой город и внезапную смерть. Тем более что мама резко оборвала общение с ними и переехала на другую съемную квартиру, предоставив самому папе объяснять своим родственникам, из-за чего случилась размолвка, а по сути развод. То, что после расставания с мамой папа был жив еще почти год, конечно, для них не имело значения.

Все понимаю: и их горе и, вероятно, желание не потерять меня — «кровиночку»... Но письмо, которое я сразу порвала, и его оскорбительно-обвиняющий тон помню. И, глядя на фотографии бабушки и папиной сестры, я так и не испытываю к ним никаких теплых чувств: они для меня совершенно чужие люди. А фотографии папы, папиных отца и деда висят у меня на стене, хотя я и не застала их в живых, и нет никаких воспоминаний, с ними связанных.

## Воспитание

**М**аме я обязана всем, что умею, а умею я много чего. Еще в детстве мама научила меня и шить, и вышивать, и вязать, и штопать, и красиво зашить порвавшуюся одежду, и починить-прибить-побелить-поклеить-обои, и сварить нехитрую еду.

А когда я повзрослела, мама преподала мне еще больше важных уроков:

Быть готовой к неприятностям и уметь их достойно переживать.

Не хвастать.

Со своими проблемами разбираться самой, не ставя людей в зависимость от своей ситуации.

Не лгать и никогда не брать чужого.

Держать данное слово.

Быть одинаково любезной с любым человеком, будь то дворник или король.

Никому не подражать: ценить самое себя. Но не «якать» (лучшее местоимение — «мы»).

Не завидовать — довольствоваться тем, что есть.

Ценить людей с собственным мнением, даже если оно отличается от общепринятого.

Иметь свое мнение обо всем и не поддаваться давлению.

Быть выше сплетен, самой в них не участвовать и дальше никому не передавать: «Пусть зло заканчивается на тебе».

Судить человека по поступкам, а не по тому, что о нем говорят.

Не верить в плохой поступок человека, если ты не была этому свидетелем.

Никогда не терять достоинства.

Быть интеллигентным человеком. А это значит — не делать чего-то запретного не потому, что кто-то об этом узнает, а потому, что ты сама себе не можешь этого позволить. Чтобы перед своей совестью не было стыдно.

Конечно, это уже сейчас я объединила мамины советы в некий кодекс. Однако на каждое из этих правил приходится очень конкретный мой детский или подростковый поступок — и разговор на эту тему. При этом нужно учесть, что мама, как и все поколение наших родителей, очень много работала: казалось бы, времени на воспитание детей не хватало. И все же воспитанием моим она занималась, воспитывала строго, а я маму обожала, так что каждое ее слово становилось законом. И всю жизнь я старалась все эти мамины, а по сути человеческие законы соблюдать.

Мама была верующим человеком, о чем я узнала, уже будучи взрослой. Мы росли в стране, где религия не приветствовалась. Я была прекрасной пионеркой: после уроков помогала отстающим, с удовольствием ходила на субботники, собирала макулатуру и металлолом и хотела с каждым днем становиться лучше и соответствовать призыву: пионер — всем ребятам пример! С радостью я вступила в комсомол. А вот партия энтузиазма не вызывала. Я была уже взрослой, и мне не нравилось то, что там происходило: конечно, знала я немного, но и то малое, что находилось на поверхности, мне не нравилось. Я так в нее никогда и не вступила — несмотря на приглашения, особенно настойчивые, когда я стала известным человеком. Я следовала все тому же закону мамы: всегда иметь свое мнение и противиться любому давлению.

А вот депутатом районного совета была два раза подряд: я хотела помогать людям, которые меня выбрали. За 6 лет работы помочь удалось только четырем семьям: в основном приходилось решать проблемы с жильем. Раз в неделю, в назначенный день и час, я приходила в маленькую комнатку, выделенную депутатам, по несколько часов выслушивала просьбы посетителей, иногда ходила по адресам удостовериться, что мой депутатский запрос окажется правдив и справедлив. Все это, естественно, я делала на общественных началах, денег за это никаких не предусматривалось. Но желание помочь людям, сделать все от тебя зависящее, чтобы жизнь стала справедливее, у меня было огромное.

И все это тоже от мамы: она всегда близко к сердцу принимала любую несправедливость...

Свою веру в Бога мама от меня долго скрывала. Но всегда просила перед сном вспомнить, как прошел мой день, и поблагодарить его мысленно за все хорошее.

Когда моей дочери было четыре года, один летний месяц она прожила у мамы в Брянске, и, когда я приехала ее забирать, мама нас обеих окрестила.

## Кривой Рог

**И**так, мы переехали в Кривой Рог. Мне, наверное, было лет шесть, потому что я опять пошла в детский сад. Первое впечатление от этого чудесного города летнее и теплое: мы с мамой на базаре, прилавки заполнены ягодами и фруктами, и все-все продавцы протягивают мне на ладонях вишни, груши, яблоки, предлагают попробовать. И я пробую всю эту невероятную вкусноту, а мама ее покупает, поражаясь дешевизне и радуясь, что ее тощий северный ребенок получит сразу столько витаминов за одно лето. На Севере еда была совсем другая: я помню очень вкусную треску, вареную картошку и соленые грузди. Много позже я узнала, что у северян даже прозвище такое есть – трескоеды. В Москве я попробовала треску «московского разлива», и она не слишком впечатлила меня. А еще в детстве я очень любила рыбий жир. Всем детям моего поколения прописывали рыбий жир, и у всех он вызывал стойкое неприятие: родителям стоило большого труда уговорить дитя выпить ложечку. Я же эту ложечку выпивала с наслаждением и под смех мамы просила еще.

Зимой в Кривом Роге мне впервые принесли елку на Новый год – принес новый мамин муж, тот самый Орлов. Но я осталась к елке равнодушна, потому что ничего о таком празднике толком не знала. Ёлки были редкостью: мирная жизнь еще не вполне вступила в свои права.

В доме, где мы теперь снимали жилье, этажом выше жил со своей семьей красавец, актер украинской драмы — любимец публики с красивой фамилией Красноплахтич. В семье подрастали два мальчика, и еще с ними жила бабушка. Младший мальчик был моим одноклассником, звали его Даня. Мы с ним так подружились, что летом, когда садик не работал, все дни проводили вместе во дворе нашего дома. Двор казался огромным, и мы редко выходили за его пределы. Днем мы расставались, только чтобы пообедать, а вечером — до следующего утра. Обедать нас звали всегда почти одновременно, и вот однажды мама позвала меня обедать, а Даню бабушка — еще нет. Мы сговорились после обеда опять встретиться, но, когда я села за стол, во дворе и в подъезде послышались какие-то крики, шум, возня... Оказалось, что Даня почему-то решил покинуть двор, а когда перебежал через дорогу на другую сторону улицы — попал под машину. Его мама в абсолютном безумии спрашивала мою, почему она не позвала Даню обедать тоже. Через три дня Даня умер в больнице.

Я видела из окна, как привезли на машине его завернутый в белую простыню трупик. Видела, как убитая горем бабушка этот трупик в простыне обнимает... Это было первым большим горем в нашем дворе. Все дети сидели по домам: родители никого не выпускали, чтобы не травмировать маму Дани, та от горя словно лишилась рассудка: сидела взаперти и не могла смотреть на детей, особенно на меня — начинала громко кричать и вырываться из рук близких, которые ее поддерживали.

Через какое-то время к нам пришла Данина бабушка и, взяв меня за руку, повела попрощаться с моим другом. Я боялась идти, но виду не подала. Я очень боялась его мамы, но ее в комнате не оказалось. Я увидела Даню в гробу, в цветах, на закрытых глазках его лежали пяточки, в комнате горели свечи. Даню я совсем не боялась. Бабушка подвела меня к нему, я не знала, что нужно делать, но как-то по-детски с ним попрощалась, покивала головой. Потом бабушка привела меня обратно.

В тот день, когда я пошла обедать, а Даня попал под машину, это произошло так стремительно, буквально в несколько мгновений — и оглушило меня осознанием чего-то очень страшного, непоправимого. Я почувствовала это сразу, еще до прощания у гроба. Я еще в те минуты сразу поняла, что Даню больше никогда не увижу. Это была первая потеря в моей жизни, и, как я понимаю теперь, очень значительная. У меня еще долго не будет близких друзей, следующая подруга, к которой я смогу привязаться так же безмятежно, появится у меня только через десять лет. Я думаю, это инстинктивный страх потери долго не позволял мне дружить сердечно.

Его полное имя Богдан Красноплахтич. У его родителей вскоре появится дочка, весь двор будет радоваться рождению этого ребенка... Его мама немного встрепенется и оживет, но, завидя меня, как и прежде, будет проходить мимо очень быстро, опустив глаза, как будто меня нет. А я, увидев ее, буду вжиматься в стенку, как будто меня нет на самом деле...

## Учение

**Я** пошла в первый класс под именем Вера Орлова: Орлов записал меня на свою фамилию. Двухэтажная школа под номером 25 называлась «красная», возможно, потому, что ее построили из красного кирпича. С первого по четвертый класс у нас преподавала удивительная учительница Анастасия Георгиевна — очень добрая пожилая дама, с черным бантом в старинной прическе. Школы тогда были с раздельным обучением, наше девичье сообщество оказалось дружным, и Анастасия Георгиевна очень нас любила. Она была одинока, и мы приходили к ней в гости, в тесную и уютную комнатку. Ее дом напоминал самый первый мой дом в Котласе: такой же темный, бревенчатый. Он стоял напротив того места, где Даня попал под машину, и каждый раз, приходя в гости к своей замечательной учительнице, я с тоской вспоминала своего друга...

Школа находилось довольно далеко, а я училась в первую смену, а значит, нужно вовремя вставать, а часов у нас не было. Старый будильник при переездах потерялся, а маленькие золотые часики, которые когда-то принадлежали моей бабушке (мама их получила от деда и бережно хранила как память), в трудные времена пришлось сдать на золотой лом, чтобы выручить хоть немного денег. По сию пору осталась у меня от них деревянная крошечная шкатулочка с застежкой и золотым вензелем на потускневшем шелке внутри — подтверждение, что часы швейцарские.

Не имея часов, мама будила меня в школу по заводскому гудку: из-за этого она плохо спала, то и дело высовывалась в форточку, прислушивалась к звукам снаружи. Уроки начинались в восемь утра, мама будила меня в семь, но однажды мама ошиблась, ей показалось, что прозвучал заводской гудок, и она разбудила меня раньше времени. В результате явилась я в школу не к восьми, а к шести утра. На дворе — зима, темно и холодно. Школьный двор непривычно пуст, да и дверь в школу закрыта, и я решила, что опоздала. Стала стучать в дверь, а там внутри, рядом со входом, в небольшой каморке жила бабушка, которая нас всегда встречала и звонила в колокол, оповещая о начале и конце уроков. Мы все ее очень любили, и она любила нас. Бабушка открыла мне двери в халате из байки, с расплетенной седой косицей. Она удивилась моему раннему приходу, но пригласила в свою каморку и напоила чаем, мы чудесно скоротали с ней эти два часа.

В то время школьная форма была обязательна: коричневое платье и два фартука: белый нарядный и черный повседневный. Фартуки мне мама купила, а форму купить не могла и сшила мне школьное платье из своего: вот только оно было серого, а не коричневого цвета. У меня в дневнике все время появлялась запись с просьбой к родителям купить дочери форму, но положение у мамы сложилось отчаянное: переезд с Севера на Украину, как любой переезд, даже с малым количеством вещей, потребовал больших затрат. Новый мамин муж записал меня в школу, а сам уехал



в Днепропетровск: он был режиссером, а в Кривом Роге свободной режиссерской ставки не нашлось. Он говорил, что в Днепропетровске его ждут, и уехал туда «устроиться», а потом перевезти нас. Но устроиться все почему-то не получалось, денег катастрофически не хватало, так что форму мне из Казани прислал по маминой просьбе ее брат Андрей. Форма изначально покупалась для сестры Веры, и она в ней проходила целую четверть, но вдруг резко подросла и поправилась, вот форму и отправили мне. В той же посылке лежали черные туфельки с перепонкой, из которых Вера тоже выросла. Я пришла в восторг, увидав такие сокровища: ведь, кроме сшитого мамой серого платья, у меня было только одно домашнее платье из фланели да сандалии на подошве, ставшей почти платформой от многоразовых починок. Форма оказалась впору: я была худенькой, а вот туфельки малы, но я говорила маме, что они мне в самый раз, так хотелось их надеть. Я пару раз даже ухитрилась в них куда-то сходить, поджав пальцы, но в конце концов пришлось признать, что это очень больно, и от туфель отказаться.

Помню, однажды мы с моей одноклассницей и ее братом играли в их довольно просторной квартире. Мы бегали туда-сюда и случайно разбили графин. Почему-то решено было, что именно я его разбила, а стоил графин три рубля. Помню лицо мамы, когда я сообщила ей о несчастье. Отдать такие деньги сразу она никак не могла. Потом, безусловно, она вернула полную сумму — но не сразу, потому что это как раз совпало с периодом, когда актерам не платили зарплату целых 9 месяцев. Цехам платили: пошивочному, реквизиторам, осветителям... А актерам — нет. И мама попросилась в пошивочный цех, чтобы в свободное от репетиций и спектаклей время подрабатывать там, пришивая к платьям и костюмам пуговицы, крючки и петли. Поскольку мифический муж отсутствовал и она была одна с ребенком, а зарплата не выплачивалась, ее в цех взяли, и бедная моя мама напришивала этих крючков и пуговиц столько, что еще очень долго не могла их видеть. И если она уже много

позже шила платьице мне, то пуговицы я всегда пришивала сама.

Орлов записал меня еще и в музыкальную школу, правда, по классу скрипки: на фортепиано мы опоздали и мест не хватило. Оставалась надежда позже перевестись, тем более что первый год обучения шел по единой программе. Занятия в музыкальной школе были платными, мне купили невероятной красоты нотную папку синего цвета с белым рисунком посередине: скрипичный ключ и ноты. Но ходила я в эту школу недолго, только два месяца: занятия казались мне скучными, а молодая учительница слишком требовательной. Мне тяжело давались бесконечные и бессмысленные гаммы... От этого периода моей жизни осталась только красивая нотная папка, она еще долго радовала глаз — а потом куда-то задевалась...

Когда мне было 13 лет, мы с мамой оказались в Узбекистане, в городе Коканде, и жить там пришлось в помещении театра. Однажды я услышала льющиеся откуда-то прекрасные звуки рояля. Я пошла на разведку — и обнаружила, что звуки эти исходят из репетиционного зала. Повторялись они каждый день, когда театральная жизнь на несколько часов замирала: репетиция закончилась, а спектакль еще не начался. Дело было летом, у меня — каникулы, так что я могла каждый день приходить под дверь репетиционного зала и вскоре была обнаружена художницей театра. Та пришла за своей старенькой мамой: это она играла на рояле, когда весь театр замирал. Выяснилось, что мама художницы — пианистка и учительница музыки. В свое время она с родителями эмигрировала в Харбин, а когда вернулась в Советский Союз, жить им разрешили только в Коканде, а преподавать не разрешили совсем, потому что мама художницы — верующая. Это была удивительно милая пожилая дама с прекрасными манерами. Узнав, что я сижу под дверью не первый день, она спросила, умею ли я играть. Услышав, что не умею, она предложила научить меня, если я этого хочу. Я засмушалась, рассказала о своем неудачном опыте, что гаммы и теперь мне не захочется играть, но прелестная

маленькая женщина не сдавалась: она сказала, что играть мы сразу будем музыку, причем совершенно любую, а гаммы — это ерунда, это попутно! «Что вы любите? — спросила она. — Любите оперу «Кармен»? Давайте начнем с увертюры к ней?» Она мне ее сыграла, и я переспросила: «Я смогу это сразу сыграть?» — «Да! — ответила она мне. — Легко!»

И началось изумительное общение с этой невероятной женщиной, педагогом от Бога. Через месяц я действительно играла увертюру! Это называется — учить с рук: она мне показывала несколько аккордов, я их повторяла и заучивала.

Я до сих пор кое-что помню. Сначала нужно 19 раз взять целую октаву: то есть все семь, даже восемь клавиш. Большой палец — на «до» и мизинец — на «до»: обеими руками. Чтобы звук был чистым, попасть нужно именно на эти клавиши: в то время мне не хватало растяжки, даже если я изо всех сил растопыривала пальцы. «Если в свободное время поиграть гаммы, — говорила мне с невинной улыбкой моя очаровательная учительница, — играть будет легко: пальцы у тебя длинные!» Вот вам и стимул — гаммы долбить. Отныне я это делала вдохновенно! Я ужасно хотела показать маме свои умения и тем самым утешить ее: пусть не переживает, что в первом классе у меня не получилось учиться музыке. Каждый день по несколько часов я занималась с радостью и в итоге сделала это — сыграла маме увертюру!

К сожалению, зимой театр перевели в Фергану, так что мне пришлось попрощаться с этой удивительной женщиной. Но ее уроки мне оченьгодились. Через много лет я играла в пьесе А. Штейна «Жил-был я!», где моя героиня должна была петь и аккомпанировать себе на рояле. Я по-прежнему не умела играть на рояле, но я знала, что все можно выучить с рук. И выучила! И аккомпанировала себе в спектакле!

Кто же он, человек учащийся, — сосуд, который нужно наполнить, или факел, который нужно зажечь? Для меня этот вопрос был решен еще тогда! Конечно же факел! Зажженный вдохновением и интересом, ученик наполнит себя сам!

## Переезды

**П**ервые дни в Кривом Роге мы жили в гостинице. Помню, как-то проснувшись утром, я обнаружила у себя в ботиночке маленькую шоколадку. Оказалось, что пришел Новый год и это был подарок мне! Это первый подарок, который я запомнила.

Мы довольно часто переезжали: за шесть лет жизни в Кривом Роге сменили пять мест, не считая гостиницы, а потом наконец получили свою комнату. Все пять этих временных мест врезались в мою детскую память.

Переезжали мы по разным причинам. В одной из комнат с нами соседствовала бабушка, которая была не в себе, все время что-то говорила на идише и невзлюбила маму. Каждый раз, завидя ее, она шипела: «Мишигине коп!» Что означало «сумасшедшая голова». Этим она очень веселила своих родных, но только не нас. В другой квартире старший сын хозяйки попал под трамвай и лишился обеих ног: хозяевам было уже не до сдачи жилья. Какое-то время мы жили даже в гримерной. У меня тогда на руке появились две болячки и все никак не хотели заживать. Когда по чьему-то вызову к нам явилась инспекция (жить в служебных помещениях запрещалось), мама попросила помочь с жильем, потому что, возможно, именно от нехватки дневного света у ребенка не проходят болячки на руке. Болячки были продемонстрированы, и комнату нам действительно вскоре дали.

Когда мы покидали Кривой Рог и съезжали из данной нам комнаты, соседи предлагали маме деньги, и, наверное, немалые, чтобы ключ она отдала им. Тогда у соседней получилась бы отдельная трехкомнатная квартира, и никто об этой сделке не узнал бы, уверяли они. И, хотя деньги наверняка пришлось бы кстати, ключ мама отдала куда следует. Законопослушность у меня тоже от мамы: я считаю это правильным. Я и на машине езжу аккуратно, и штрафы получаю очень редко.

...Вдруг снова объявился Орлов и, бросив все — а у мамы уже было хорошее положение в театре, — мы поехали с ним в Днепропетровск. Наше пребывание там оказалось недолгим, но ужасным, это понимала даже я, совсем еще ребенок. Привез нас Орлов в кассу кинотеатра и там разместил. Вообще касс у кинотеатра было две, и одну закрыли для нас: мы кое-как устроились в ней на трех метрах. За фанерной стенкой нашего жилища все время толклись люди: они стучали в закрытое окошко, возмущаясь, почему работает только одна касса. Кинотеатры пользовались популярностью: кино у нас любили. Мама нервничала: видимо, дела обстояли куда хуже, чем наобещал Орлов. Она не выпускала из рук спиц: одну за другой вязала очень красивые, яркие вещи, как выяснилось, не себе и не мне, а на заказ.

Вскоре мы с мамой вернулись в Кривой Рог, но маминно место в русской драме уже заняли, и она устроилась в украинский театр: именно там нам пришлось поселиться в одной из гримуборных — в очень маленькой комнатке с яркими электрическими лампочками на трех столиках, без дневного света. Туда и приходила инспекция — и вскоре после этого мы с мамой получили комнату.

Украинская драма находилась в помещении клуба Промкооперации: так называлось это здание. В дневное время там работали множество кружков, в один из которых я записалась и впоследствии даже «блистала» на сцене этого клуба, танцуя украинские танцы в красивом национальном костюме с венком из цветов и лент на голове. Венок во время представления все время сползал с головы — сначала на нос, потом на шею, но зрителям это казалось даже забавным: со мной выступали такие же маленькие дети, венки сползали не у меня одной, и нам всем горячо аплодировали. Костюмы нам шили прямо в танцевальном кружке. За яркие костюмы я его и выбрала: мне пообещали сшить такой же, если приду в кружок, вот я и пошла.

Вечерами клуб превращался в театр, и «блистали» там уже взрослые артисты. Играть нужно было на украинском

языке, и мама без устали зубрила текст, чтобы он звучал правильно: языка она не знала и потому многие слова заучивала. Играла она главную роль в арбузовской «Тане» — большая, прекрасная драматическая роль.

Не помню, как это случилось, но через год мама вернулась в русскую драму. И Орлов пока еще не исчез из нашей жизни, но денег по-прежнему не хватало. И когда однажды в булочной, купив по просьбе мамы хлеб, я увидела обретенную кем-то трехрублевую бумажку, я очень обрадовалась. Подняв ее и для приличия постояв с ней несколько минут — вдруг кто-то вернется, — я радостно бросилась домой, предвкушая, как похвалит меня мама. Но мама сказала, что чужое брать нельзя, и отправила меня обратно в булочную — отдать деньги. Я уверяла ее, что я постояла, подождала, и никто не пришел, но мама все равно велела оправляться в булочную и отдать деньги кассиру, объяснив, что я их нашла: может быть, человек вернется позже, может, он пока не заметил, что потерял. Разумеется, я так и сделала.

В этот же период помню два случая, когда мама будила меня ночью и мы шли в продовольственный магазин, который должен был открыться утром. В первый раз мы стояли длинную очередь за сливочным маслом, второй раз — за сахаром. В очереди было много детей, потому что на каждого человека полагалось определенное количество граммов дефицитного товара. Так что, если женщина говорила, что у нее есть ребенок, это считалось недостаточным: ребенка следовало предъявить...

## Подарки

**И** вот наконец прошла тяжелая пора, когда актерам не платили зарплату. Маме выдали задолженность — сразу за 9 месяцев! И мама поехала в самую Москву и привезла мне оттуда удивительные вещи, которые и описать невозможно — слов не хватало, так они оказались хороши! Самым красивым было пальто: зимнее, шерстяное, но легкое — не

на вате, а на ватине! Пальто ярко-синего цвета, с воротничком-стоечкой из искусственного меха, в талии присборенное, а грудка и подол расшиты цветной и яркой фигурной тесьмой: красной, голубой, желтой и зеленой! Пальто было таким ярким, таким веселым и так мне шло, что его хотелось носить, не снимая даже дома!

Вскоре случилась денежная реформа, и мама стояла в длиннющей очереди в сберкассе, чтобы оставшаяся от девятимесячной зарплаты сумма, не потраченная в Москве и отложенная на черный день, не пропала.

Волшебное пальто из детства припомнилось мне через много лет, когда у меня родилась дочь. У нас в театре сложилась традиция передавать друг другу вещи наших детей, так я получила для дочери манеж и кое-какую одежду выросшего из нее мальчика. Одежду необходимо было переделать в девичью, в том числе пальто с капюшоном синего цвета. Я разукрасила это скромное пальтишко с размахом: капюшон отделала искусственным мехом, а все пальто — разноцветной тесьмой. Конечно, ему было далеко до моего безупречного пальто из детства, но все же оно стало девичьим и нарядным! Дочери моих коллег были или старше, или младше Юли, и потому много еще мальчишеских вещей попадало в мои руки и превращалось в чудесные девичьи. Вот младшим девчонкам и доставались после Юли мои изделия.

Мама привезла мне платье на выход — цвета электрик, из какой-то заморской ткани, да еще ботиночки, отделанные мехом, которые назывались почему-то «румынки». Модницы в то время сами пришивали к ботинкам куски где-то раздобытого меха. Но на них сразу было заметно, что и пришито неровно, и мех не совсем мех: а тут самые настоящие, фабричные ботинки! А еще мама привезла чудесные разноцветные ленты и необыкновенной красоты портфель! А еще туфельки! Словом, в тот вечер я не могла уснуть от переполнявших меня чувств!

В беззарплатное мамино время я никогда не голодала и не имела понятия о маминых мытарствах. Мы брали домой

обеда из столовой, и иногда к нам приходил обедать Миша, сын маминой коллеги. Нас не связывала дружба, но мама кормила нас обоих, видимо, понимая, что у Миши дома совсем дела плохи. Иные мои сверстники питались весьма сносно, но у всех нас было одно самое любимое лакомство: черный хлеб, который макаешь в пахучее подсолнечное масло. Еще одна девочка из класса иногда приносила макуху — спрессованный жмых из переработанных семечек. С каким же восторгом мы ее грызли! Тетя девочки работала на маслобойне и подкармливала нас отходами: каждому доставался приличный кусок этого чуда размером с кулачок.

Кому-то из детей давали завтрак с собой, а некоторым, и мне в том числе, давали рубль — после денежной реформы это были копейки. Но можно было не проедать его, а купить кулечек простых конфет, что я и делала: на переменках с удовольствием перебивалась «барбарисками» и была сыта. Правда, когда приближались праздники, я переставала тратить драгоценные рубли, а копила на подарок маме. Оставаясь без конфет на перемене, я стала замечать, что завтраки с собой детям дают разные: кому-то хлеб с сыром, кому-то — с белым медом, а кому-то и просто хлебушек. В предпраздничные дни я была бы рада и хлебушку, но не сдавалась и деньги не тратила. Зато, когда приходила домой, съедала все имеющееся в доме съестное. У мамы это называлось — «Веруня играла в Осипа», и это выражение у нас крепко прижилось. Появилось оно потому, что впервые «продуктовое опустошение» произошло, когда в театре выпустили спектакль «Ревизор»: там, как известно, Хлестаков со слугой Осипом очень оголодали.

И вот наконец праздник! Все деньги до копейки зажаты в кулачке, и перед тобой огромный выбор товаров, которые можно приобрести в подарок маме. Можно, конечно, все вбухать в один флакон духов, но моя мама заслуживает много подарков! И потому я покупала немислимое количество разнообразнейших мелочей. Весь этот огромный ворох утром вываливался маме на кровать, и ее встречала моя



улыбающаяся мордочка. Я сияла от радости, произносила поздравление, ждала восторгов по поводу горы подарков и, конечно, похвалы.

Немало такта требовалось маме, чтобы и поблагодарить за этот ворох, и похвалить, и заронить в детскую головку мысль, что один дорогой подарок ценнее многочисленных дешевых мелочей.

## Игры и развлечения

**Я** жила обычной жизнью школьницы: записалась в кружок художественной гимнастики, хорошо училась, ходила в городскую библиотеку. Помню свою первую книжку «Девочка из города», главная героиня которой во время войны потеряла родителей, и ее эвакуировали в деревню. Когда я прочитала «Мцыри», то подумала, что и мне пора что-нибудь сочинить в стихах. Села за стол, поставила томик Лермонтова перед собой и часа два вымучивала свою версию лермонтовского шедевра, но все же была вынуждена отступить. Попробовала сочинить что-нибудь попроще: пусть бы вышел не «Мцыри», но хоть какая-то рифма. Но, увы! Поняв с огорчением, что стихотворчество — не моя стихия, я убрала Лермонтова подальше.

Но читать я полюбила. Тогда издавалось много книг для подросткового возраста, и все они были ненавязчиво воспитательными. Героями выступали сами подростки, которые защищали слабых, помогали в учебе отстающим одноклассникам, и мне хотелось им подражать. «Тимур и его команда» — настольная книга моего поколения. Лет в 14 я прочитала «Два капитана» и полюбила ее на всю жизнь. Перечитав замечательную книгу Вениамина Каверина уже взрослой, я поняла, что это по-прежнему моя любимая книга.

Я подружилась с четырьмя одноклассницами — двумя Людами, Наташей и Нелей. Мы жили недалеко друг от друга и гуляли нашей стайкой по городу. У одной из Люд тетя работала в кинотеатре и пускала племянницу в кино без биле-

та. Потом, на прогулках, Люда нам пересказывала фильмы. Другая Люда жила в большой квартире с длинным коридором — прекрасная возможность бегать и беситься, в результате таких развлечений и разбился трехрублевый графин. Наташа была философ и все подвергала критике. А Неля была просто очень добрым человеком, ко всем относилась с пониманием. Я в нашей компании выделялась тем, что умела рассказывать небылицы.

Поскольку по бедности с игрушками у меня было не густо, мама рисовала мне на картонке куклу в трусиках, потом вырезала ее, а мы с подругами ее одевали. Рисовали для куклы наряды, вырезали их по контуру и прикрепляли к плоской картонной кукле.

Подругам я вдохновенно рассказывала, что раньше у меня была настоящая, совершенно необыкновенная кукла, но она разбилась прямо на вокзале, перед приездом в Кривой Рог. Девочек завораживало описание куклы: ее размеры, одежда, умения и мои искренние переживания о горькой потере. Правда, нагородив с три короба, я вспоминала строгий мамин завет никогда не врать, и мне становилось стыдно. И все же фантазировала я много — на самые разные темы.

Под моим руководством мы ставили спектакли в нашем дворе и приглашали взрослых на премьеры. Те с радостью приходили, предварительно снабдив нас необходимым реквизитом. Заняты в моих спектаклях были все дети двора, от мала до велика, а детей в нашем дворе жило много. Нарисованные билеты быстро раскупались за нарисованные деньги, зрители рассаживались на принесенных с собою стульях, публика была благодарная: на ход спектакля реагировала живо и в финале аплодировала от души.

Жизнь была насыщенной и очень разнообразной. Нам предоставляли много свободы, летом в теплом южном городе дети бегали на улице до темноты. Дворы не загоразживали шлагбаумами, машины заезжали туда редко, да и машин-то было мало. Мы ходили друг к другу в гости, даже если друзья жили далеко, и взрослые за нас не волновались.

Мы даже отправлялись купаться на речку Ингулец, и с нами увязывались совсем маленькие: взрослые нам и такое разрешали. Мы лазили по деревьям и крышам сараев, играли в прятки и в «штандер» — мяч резко ударяли о землю, он взмывал в небо, а мы стояли в кружке и ждали, когда он вернется, опять ударится о землю, а потом, отскочив от нее, обязательно попадет в кого-нибудь из стоящих в кругу. А вот этого не хотелось, но уходить из круга нельзя, и потому каждый старался, стоя на месте, увернуться, избежать этой участи, потому что тот, в кого мяч попал, должен был выполнять желания стоящих в кругу.

Мальчишки играли в «ляндру»: кусочек меха с прикрепленным к нему утяжелителем из свинца нужно было подбросить рукой и, не дав ему упасть, продолжить подбрасывать «ляндру» уже внутренней стороной ботинка. Некоторым виртуозам удавалось до пятидесяти раз это сделать, а мы стояли вокруг и вслух считали. Где уж мальчишки брали свинец, не знаю, но в каждом дворе была своя «ляндра», и мальчишки, сбивая кожу на обуви, били по ней до посинения.

Мы бегали, обгоняя друг друга, падали, ушибались, вставали и бежали дальше. Мы строили жилища ничейным дворовым котам, укладывали их спать на «кровать» из кирпичиков, застилали им тряпочку-простынку, укрывали тряпочкой-одеялом и никак не могли взять в толк, почему благодетельствованный нами котик так отчаянно царапается и вырывается из уютнейших апартаментов! Помнится, на кошачьем туалетном столике-камне даже приспособили осколок настоящего зеркала — немислимая роскошь.

Домой мы являлись с разбитыми коленками и локтями, поцарапанные с ног до головы. Когда мама мыла меня в тазу, я непременно причитала: «Ой, мамочка, осторожно, коленка!» Или локоть, или что-нибудь еще. Словом, со двора мы возвращались как с поля боя. Помню, как однажды мама удивленно сказала, намыливая меня мочалкой: «Надо же! Ни одной царапины, ни одной болячки!» Этот необыкновенный случай, кажется, произошел уже перед нашим

расставанием с Кривым Рогом и моим переходом в шестой класс.

Была у меня и еще подружка, которая один раз в год, когда приезжала ее бабушка из Белоруссии, приглашала нас с еще одной девочкой к себе в гости. Мы приходили, пили чай с очень вкусным пирогом (позднее поняла, что угощали нас куличом, а бабушка приезжала на Пасху). Нам было и вкусно, и очень интересно в гостях: бабушка нас понимала, но что она говорила сама, понять было решительно невозможно, хотя она и говорила, казалось, по-русски. Внучка ее понимала тоже прекрасно и нам переводила бабушкин язык, а мы сопоставляли звучание слов и ударений и очень веселились. И бабушка смеялась вместе с нами: она привыкла, что ее быстрый белорусский говор непонятен, а медленно говорить она не умела, очень шустрая была старушка. Однажды мы пришли к ним в гости по приглашению, а нам никто не открыл. Дорога была долгая: та девочка жила довольно далеко. Смириться с тем, что ни пирога, ни бабушки не будет, мы никак не могли: очень уж редко на нашу долю выпадали сладости. Мы высматривали хозяев на дороге, заглядывали в окна, стучали в дверь и решили ждать до победного конца: должны же люди когда-нибудь вернуться! Но вскоре начало темнеть, и мы отправились домой. На следующий день мы были вознаграждены: Света, так звали девочку, принесла нам по кусочку кулича в школу, но почему-то оказалось, что есть на переменке совсем не так вкусно, как у нее дома, с болтающей на непонятном языке бабушкой!

Отравлял мое существование в это чудесное время только петух — рыжий, с ярким разноцветным хвостом, и очень голосистый. Он невзлюбил меня сразу, с первого своего петушиного взгляда. Я о его существовании ничего не знала, пока он не начал действовать. На каждую квартиру в нашем доме приходился свой сарайчик во дворе: там держали разные предметы быта, а кто-то и живность, у одного соседа даже целая свинья жила, встречались утки и куры. Этих самых кур под предводительством петуха выпускали

из сарая на прогулку, они что-то сосредоточенно искали в земле и клевали, а петух зорко следил за входом в дом со стороны двора: он ждал меня. Надо сказать, что дом у нас был замечательный: красивый, двухэтажный, с парадным и черным входами, с живописной лестницей и огромной застекленной террасой на втором этаже. Вот только колонка с водой была во дворе, да и туалет — тоже на улице, за сараями. И все жители дома, стар и млад, с утра направлялись по очереди в сторону туалета. Ко всем жильцам петух был равнодушен — кроме меня. Он замечал каждое мое появление. Наши встречи проходили одинаково: я бежала по двору зигзагами, сначала в одну сторону, потом в обратную, а петух несся за мной вслед, невысоко взлетая и злобно похлохтывая за моей спиной. Я очень боялась, что вот сейчас он меня догонит и проклянет мне голову насквозь. Почему из всех обитателей дома он невзлюбил именно меня — осталось тайной. Может, дело было в том, что я новенькая: мы с мамой переехали позже других. Однако мы жили в нашей законной комнате, не в съемной, и двор я уже по праву считала своим, и соседей — нашими. Только петух никак не хотел признавать законности моего проживания.

## Соседи

**Л**юди в доме обитали очень интересные, и у всех были дети. В одной квартире с нами жила большая семья: родители, двое детей, да еще бабушка. У них — две комнаты, у нас с мамой — одна. Жили мы дружно и поддерживали друг друга: мы с мамой отдавали им, например, очистки от картошки, а они нам раз в год приносили большой кусок очень вкусной домашней свиной колбасы. Где они держали свинью, я не знаю: в сарайчике были у них только гуси.

Старшему их мальчику, очень серьезному и взрослому, стукнуло уже лет 14, так что с ним я общалась мало. Зато маленькая Зиночка, трех лет и необыкновенной красоты, полюбила меня всем своим крохотным сердцем, а я полюбила

ее. Когда на улице темнело и во дворе игры заканчивались, мы с ней придумывали занятия у нас в комнате: мама моя еще не возвратилась со спектакля, а родители Зиночки доверяли мне, ее семилетней подруге. Так что мы с Зиночкой бесились, пели, танцевали, пока обе не падали от усталости.

В соседней квартире, большой и хорошо обставленной, жил какой-то начальник — пожилой человек с молодой женой и маленькой дочкой лет пяти, болезненной и бледненькой: ее никогда не выпускали во двор. Ее детская комната была забита разнообразными игрушками. Родители пытались найти своей девочке друзей и по одному, на пробу, приглашали к себе в гости детей из нашего дома. Однажды пригласили и меня. Я очень сочувствовала этой девочке, но оказалось, что с ней очень скучно, а за стенкой меня ждала разбойница Зиночка, с которой можно кувыркатся, кидаться подушками и, заворачиваясь в простыню, изображать привидение, и не беда, что игрушек у нас нет. С этой малышкой из богатой семьи так никогда бы не получилось поиграть...

На втором этаже жила семья с тремя разновозрастными детьми, и все с боевым характером. Жили там еще бабушка с внучкой, у них возле сарая росла вкуснящая вишня. Ее от детей охраняли, рвать спелую черную вишню не разрешали: она была не общая, а их личная. Но когда там же, около сарая, варили на печке варенье из этой самой вишни, мы все стояли вокруг и терпеливо ждали, когда угостят пенками. Все пенки были нашими!

За сараем росла огромная шелковица, с черными, сладкими ягодами. Мы облепляли дерево, как саранча, и ели шелковицу от пуза, ягоды пачкали наши мордочки и руки в сине-фиолетовый цвет, и отмыть нас было очень нелегко.

Еще на втором этаже жила миловидная блондинка с белобрысым сыном. С ними никто не общался: она родила мальчика от немца во время оккупации города. Никто не демонстрировал этой женщине неприязни, все вели себя достойно, но она сама чувствовала себя неуютно. С утра проскальзывала тенью по двору, отправляясь на работу.

С работы возвращалась бегом — и тут же закрывала за собой дверь на замок. Чем в это время был занят мальчик, непонятно: он все время сидел дома и во двор не выходил никогда. Когда мы поселились в нашем доме, дети тут же посвятили меня в то, что он — немец.

Строго говоря, когда-то я уже жила в этом доме: он стал нашим первым пристанищем после гостиницы. Мы снимали комнату на первом этаже. В квартире стоял постоянный крик: все выясняли отношения и предъявляли друг другу претензии — две девочки, мальчик и их усталая мама, хозяйка квартиры. Мальчик порой заходил к нам, спасаясь от этого крика. Это случалось в те часы, когда я оставалась одна. Маму мою соседские дети стеснялись, и их маме удавалось поддерживать в квартире относительную тишину. Мальчик был хулиганистый и считался грозой нашего двора, но у меня он сидел тихо, иногда мы с ним даже играли. И вот однажды мы бегали и он разбил мамину чашку. Мальчик испугался и, грозно посмотрев на меня, сказал: «Смотри, не выдай меня!» И ушел! Когда мама вернулась с работы и спросила, где ее чашка, я, чтобы не выдать мальчика, ответила: «Понятия не имею!» Мама смерила меня долгим взглядом и шлепнула по попе. Я ужасно обиделась! Это было: а) оскорбительно и б) несправедливо!

Я попросила маму дать мне честное слово, что тайна исчезновения чашки останется тайной навсегда, и рассказала правду. Мама тяжело вздохнула и сказала: «Пожалуйста, никогда мне не ври». Мальчик дня три скрывался от моих и маминых глаз, но когда понял, что разборки не будет, царственно взял меня под свое крыло, хотя меня и так никто не обижал — я была еще слишком мала, а маленьких во дворе не обижали. Надо сказать, что понятия о чести, о честном слове не были для тогдашних детей пустым звуком: все зачитывались Гайдаром и хорошо знали и его «Честное слово», и «Школу».

Когда мы получили в этом доме комнату, мебель нам дали в театре — из отыгранных уже спектаклей. Так что она имела причудливую форму: стол и стул из Шекспира, сундук из

русской классики... Шкафа не нашлось, поэтому его остовам сделали театральные плотники, а заодно они смастерили и козлы под панцирную сетку. Матрац, набитый сухими листьями кукурузы, громко шуршал. Мама купила большой отрез самого дешевого ситца в ромашку и все это разнообразие стилей соединила одной тканью: сделала из него стенки для шкафа, покрывало на сундук, чехлы на стулья. Комнатка получилась настолько обаятельная, веселая и нарядная, что просто загляденье. И с тех пор ромашки — мои любимые цветы.

Чуть позже мама купила еще и маленький приемник — назывался он «Москвич», — и когда мы его впервые включили, заиграла такая божественная музыка, что я замерла и начала плакать. Я потом всегда ее узнавала, эту музыку. Много позже выяснилось, что впечатлил меня отрывок из балета Чайковского «Лебединое озеро», и с тех детских пор, когда я вижу или слышу что-либо, по моему разумению, талантливое (не важно, комедийное или трагическое), я почему-то начинаю плакать: слезы сами непроизвольно катятся по щекам.

Взрослые очень много работали, и дворы заполняли в основном дети и старушки. Город был многонациональный, но это я понимаю только сейчас, вспоминая имена и фамилии моих одноклассниц и друзей. Очевидно, русская Люда Булкина, наша подруга Света из Белоруссии, девочка-гречанка по фамилии Кечеджи, маму моей маленькой подруги, красавицы Зиночки, звали Сарра Абрамовна, так же, как мою подружку Саррочку, с которой мы ходили есть православные куличи белорусской бабушки... Никто из детей не знал, кто какой национальности, и от взрослых никаких разговоров на эту тему не слышали. Исключение составляли мальчик-«немец» и его мама. Я тоже всем своим подругам рассказала по секрету и шепотом, что у нас в доме живет настоящий «немец». Эта национальность внушала ужас.

В Кривом Роге был целый район, где жили греки: высокие, красивые люди с большими носами; и почему-то все они, и взрослые и дети, ходили в ярко-оранжевых высоких



галошах, надетых на толстые шерстяные носки. Был и цыганский район. Впрочем, цыгане с их огромным табором селились на пустыре только летом, когда приезжал цирк и на этом же пустыре возводил свои стены. Строили на совесть, потому что в репертуар входили мотогонки по вертикальным стенам! Это было интересно, шумно и окутано тайной: как по стене на большой скорости может ехать мотоцикл? Неужели не упадет? Осенью на пустыре оставались железные винтики и гайки от цирка и куски рваной материи от цыган. Сами они исчезали до следующего года, а их место занимали индюки. Пройти мимо них в школу непросто: увидев людей, они устремлялись навстречу, кулдыкали и трясли своими бородавчатыми носами. После рыжего злого петуха индюки мне тоже не казались дружелюбными.

## Горькие минуты

**О**рлов присутствовал в нашей жизни года четыре из шести прожитых в Кривом Роге. Впрочем, я помню его точно.

Однажды после школы я зашла в гости к однокласснице, и вдруг оказалось, что вот-вот начнется солнечное затмение. Ее брат уже приготовил закопченные стеклышки, чтобы через них рассматривать редкое астрономическое явление. Затмение вызвало такой интерес у детворы! Как так — солнца больше не будет никогда?.. Через волшебные стеклышки было замечательно видно, как солнышко скрылось и как, под наши радостные крики, вышло обратно. Потом мы долго обсуждали увиденное, еще немного поиграли, и я отправилась домой. Я тогда училась во втором классе, мне было восемь лет, и во времени я не очень ориентировалась. Оказалось, что с момента, когда меня ждали дома, прошло слишком много времени, мама переволновалась, не зная, что и думать.

Меня никто и никогда не бил, а тут Орлов, видно, тоже переволновавшись, решил меня проучить: он снял ремень

и начал проучать, а я пребывала в замешательстве. Во-первых, я не понимала, за что: затмение оказалось таким восхитительным, что время для меня пролетело за одну минуту, а после школы я и раньше задерживалась, так что мне не казалось, что я пришла поздно. Во-вторых, — кто он такой, этот Орлов, чтобы поднимать на меня руку? И в-третьих, — и в-главных, — я не понимала, что это с мамой? С мамой, которая, едва завидев рядом со мной какого-нибудь мальчика, бежала, раскинув руки, как птица крылья, и кричала: «Веруня! Он тебя не обижает?!» Как могла она позволить этому чужому взрослому дяде меня «обижать»? А мама стояла, отвернувшись... Я во время экзекуции не проронила ни звука, чем Орлова огорошила, а на маму я так сильно обиделась, что припомнила ей это, когда уже была взрослой замужней женщиной.

Я считаю, что бить детей нельзя. Когда у меня самой уже была дочь, она однажды пришла ко мне с дворовой подружкой и ее проблемой. Оказалось, подружка заигралась допоздна и теперь папа будет ее бить за то, что поздно вернулась. Я глядела на это крошечное, дрожащее от страха существо, и у меня ком подкатывал к горлу. К ней домой мы пошли все втроем, и я сказала открывшему двери папе, что играли девочки у нас дома, что у нас остановились часы, так что их дитя не виновно в опоздании. Я наврала в присутствии ребенка, но другого способа защитить девочку я не видела. Понимаю, что иной раз подзатыльник или шлепок может помочь родителю в воспитании: но бить беззащитного ребенка — это неоправданное варварское насилие. К тому же оно приносит горькие плоды: ребенок вынужден учиться врать, чтобы избежать побоев.

Вообще в моей жизни Орлов не играл большой роли, а в маминой, должно быть, наоборот. Я помню, как они расставались: это был совершенно спокойный разговор двух людей, после которого Орлов ушел, и я бы не поняла, что навсегда, если бы не мамины горькие слезы после его ухода. Я впервые видела, как плачет мама. Я хотела ее утешить,

но она меня так резко оттолкнула, что я упала на пол. От неожиданности я ничего не сказала, ушла, легла на свою кровать, отвернулась к стене и стала думать, что больше никогда не встану, умру прямо здесь — тогда мама поймет, какая я была хорошая девочка, но будет поздно.

Уже взрослой я как-то спросила маму, почему они тогда с Орловым расстались. И мама мне сказала, что все эти трудные годы он ни дня не работал: все искал себя, искал места, где бы пригодился его талант, и не находил, и снова искал, а жил при этом за мамин счет. У мамы на руках была я, и она больше не могла тянуть на себе еще и его. Орлов же считал такое положение дел нормальным...

В следующий класс я пошла под фамилией своего папы — Быковой.

## О достоинстве

**Ж**ил в Кривом Роге актер — любимец публики по фамилии Забалуев: пожилой и «богатый», заслуженный артист. Человек он был хамоватый, ни от кого никаких замечаний не терпел, вел себя так, как удобно ему одному. Когда в театре было особенно трудно и денег артистам не платили, Забалуев придумал для себя забаву: покупал конфеты и, собрав небольшой кружок театральных детей, выкладывал конфеты на всеобщее обозрение и предлагал заработать конфету, прислуживая ему. Мол, кто лучше себя проявит, тот и получит конфету, а может, — и две. Дети старались изо всех сил, и кто-то действительно получал конфеты. После вечернего спектакля Забалуев громко и самодовольно рассказывал об этом всей актерской братии и добавлял, обращаясь к кому-то из родителей: «Дал твоему сегодня две конфеты, хотя, может, и зря. Цените мою доброту!» Может быть, он в самом деле считал это благотворительностью?

Возможно, в сытое время подобное детское «соревнование» и не казалось бы унижительным, но устраивать его для

голодной детворы было по меньшей мере странно. Слух о возможности получить конфету разошелся среди детей быстро, и круг участников расширялся. Мама, услышав про «доброту» Забалуева, попросила меня не принимать приглашение в круг, если оно поступит. Я, конечно же, и не принимала — и, самое главное, понимала, почему этого делать нельзя.

Второй класс я закончила на одни пятерки, и мама мне купила целый кулек грецких орехов. Я их сразу съела: это было пиршество. Примерно тогда же меня пригласили в гости на день рождения к однокласснице. Она жила с мамой, папой и бабушкой — и жили они довольно благополучно. Я увидела праздничный стол с конфетами, печеньем, вареньем, домашними пирожками, орехами и пирожными. Я даже себе представить не могла, что такое бывает — сразу так много всего вкусного. И, главное, все можно съесть! Меня посадили за стол, я была очень возбуждена видом изобилия, и это, наверное, не осталось незамеченным: глаза мои разбегались. Мне сказали: «Пожалуйста, угощайся!» Я взяла пирожок и даже не съела, а мгновенно проглотила его, и добрая бабушка сразу пододвинула ко мне тарелочку с пирожками. Этого было достаточно, чтобы я почувствовала, что неприлично быстро проглотила пирожок. Так что через паузу я вежливо сказала: «Большое спасибо, я сыта и больше ничего не хочу». Помню, как взрослые пытались мне предложить еще что-нибудь, но я больше не притронулась ни к одному блюду. Я думала, что тем, как жадно слопала пирожок, поставила себя и маму в неловкое положение. Вдруг люди подумают, что я голодная? А голодной я действительно никогда не была.

В этом заключалось мое детское понимание собственного достоинства и защита маминого. Ну и, конечно, проявилась неожиданная черта характера в столь юном возрасте. Вообще характер у меня сформировался покладистый, но стойкий: если я чего-то не принимала, то переубедить меня было нельзя. Помню, как мне сшили летний сарафан из льна, такого модного теперь. Сарафан с зеленой полосочкой по

подолу. Я отказалась не только носить его, но даже мерить, сказала взрослым, что его сшили из мешка, в котором хранят картошку, и я его никогда не надену. Я не придумывала: действительно видела в углу на кухне в детском саду мешок с картошкой из мешковины, очень похожей по цвету и выделке на несчастный сарафан, только без зеленой полосочки. Предложение носить нечто подобное меня обидело, а было мне тогда года четыре.

## О воровстве

**В** школьном классе на подоконнике стоял горшочек с землей, в нем выращивали лук. Лук был такой хорошенький, зелененький и каждый день становился больше. Мне он не давал покоя, и однажды после уроков, дождавшись, когда все уйдут, я подошла к горшочку, оторвала самое большое, самое красивое перышко и быстро его съела. Вкус мне не понравился, и я, воровато оглядываясь, вышла из школы. Я отправилась в кинотеатр на встречу с мамой и ее приятельницей: мы все вместе собрались в кино. Какой мы смотрели фильм, совершенно не помню, потому что где-то через 10 минут после начала у меня началась жуткая рвота. Я, едва сдерживая ее, ушла от мамы на задние ряды — но рвота не прекращалась до конца фильма, и я понимала, что это наказание за то, что я украла лучок. Фильм закончился — закончилась, к счастью, и рвота, и я вернулась к маме, ничего не сказав ей про воровство. На следующий день я увидела, что в горшочке проросло еще два перышка и никто на лук внимания не обращает, так что я спасена от публичного позора... Но, что наказание за «грех» неизбежно, я усвоила.

Прошло время, и грех забылся, а на трамвайной остановке около нашего дома летом появилась продавщица с открытым лотком конфет. Конфеты привозили в больших картонных коробках, в каждой из них содержался свой сорт. Вечером непроданные конфеты и продавщицу увози-

ли, на ночь оставался голый лоток, но уже утром и коробки, и продавщица появлялись на прежнем месте. Продавщица зачерпывала конфеты совочком из картонной коробки, высыпала их на правую мисочку весов, а на левую ставила гирьки разной величины. Потом она ссыпала конфеты в кулек и вручала покупателю, взяв с него плату. Мы, дети, оглядели сам лоток, продавщицу, гирьки и весы и быстро потеряли ко всему этому интерес: денег-то у нас не было, и мы продолжали бегать по двору, сочинять театральные спектакли и лазить по крышам сараев. Но конфет-то хотелось, и я подумала, что если с продавщицей подружиться, то она может друга и угостить. И я пошла дружить с ней. Целую неделю я стояла рядом с продавщицей, смотрела, как ловко она орудует совочком, рассказывала ей о школе и наших детских играх, слушала ее вопросы и охотно на них отвечала, с завистью смотрела на пробегающих мимо ребят... И чем дольше стояла, тем четче понимала: вряд ли меня угостят, раз уж не угостили до сих пор. И тогда, дождавшись, когда моя новая подруга отвернется, я схватила из коробки одну конфетку в обертке и быстро убежала в сквер напротив, чтобы эту конфету съесть. От стыда моя ладошка стала мокрая, карамель прилипла к фантику, фантик отдрался с трудом, и липкая конфета совсем не показалась мне вкусной. Всю последующую свою летнюю дворовую жизнь я избегала приближаться к покинутой мной «подруге». Если случалось пробежать мимо, я слышала обращенное ко мне: «Верочка, что же ты меня совсем забросила, я скучаю!» Уши мои начинали гореть: мне казалось, что она, конечно же, знает об украденной конфете, а зовет меня, чтобы объяснить, что воровать нехорошо. Но я это и так знала. Трусливо поджав хвост, понимая, что невежливо не откликнуться на ее зов и даже не здороваться, я делала вид, что не слышу ее, и пробегала мимо.

Следующим искушением стал открытый мамин кошелек. В нем лежало множество бумажек — и я подумала, что, если я аккуратно выташу рубль, мама не заметит. Я и выта-

щила. Купила мороженое и направилась в заветный сквер напротив, где я раньше тайно съела украденную конфету. Сквер был хорош тем, что помимо скамеек там у большой клумбы располагались выстриженные в виде ваз кустарники: четыре высоких вазы, по одной с каждой стороны. За любую вазу можно было спрятаться и спокойно съесть все, что хочешь, — и я спокойно съела мороженое. Мама действительно ничего не заметила, и открытый кошелек так и лежал на своем месте: мама была свободна в этот день и занималась хозяйством, не выходя из дому. На следующий день я ухитрилась вытащить еще один рубль, снова купила мороженое и съела его за вазой. Но меня мучила совесть: я не могла спокойно есть, так что засунула в рот сразу все мороженое и с трудом его проглотила, не получив никакого удовлетворения. На этот раз дома меня встретил мамин вопрос: «Веруня, ты не брала деньги из кошелька?» Пришлось признаться, что брала; и на вопрос, зачем — честно ответить, что на мороженое. Мама стала плакать. Она меня не ругала, она мне ничего не говорила — это я бубнила, что больше так не буду... Но мама плакать не переставала, и я понимала каким-то шестым чувством, что плачет она не потому, что я взяла деньги, а потому, что даже изредка она не может дать мне денег на сладости, что уже давно живем мы очень бедно и что у нее каждый рубль на счету. Больше я никогда ничего чужого не брала.

## Другая школа

**К**огда я закончила четвертый класс, в школьной образовательной системе произошли серьезные изменения — обучение мальчиков и девочек стало совместным. Мою родную девичью 25-ю школу объединили с мальчишеской, под номером 1. Часть девочек нашего класса осталась на месте, другие перешли в здание 1-й школы. Я оказалась в мальчишеской школе с небольшой горсткой девочек из прежнего класса, с которыми близка не была, и горевала, особенно

первое время. Я любила свою школу, любила нашу пионервожатую Жанну Богудлову, которая к тому же была отчаянной театралкой и поклонницей моей мамы. Мы дружили, и даже после переезда в другой город не потеряли связь с Жанной. По сию пору, когда наших мам уже нет с нами, мы изредка переписываемся с дочкой Жанны, Светланой, которая теперь живет в Израиле и недавно выдала замуж свою дочь. Я знала и всем сердцем любила нескольких старшекласниц, отличавшихся или красотой, или удачным выступлением на общешкольном концерте, или просто удивительной фамилией. Одна краснощекая девятиклассница носила звучную фамилию Москва, я ее запомнила и полюбила. Я была привязана к школе всей душой и разрыв с ней переживала болезненно. Мы оказались в разных школах с подругами, и постепенно наша детская дружба сошла на нет. В новой школе мне было непривычно, неинтересно, можно даже сказать, что ходила я туда как-то автоматически. Мальчики ничем особенно от девочек не отличались — разве что были ошарашены количеством косичек в классе, но за косички не дергали и девочек не обижали.

В новой школе меня выбрали звеньевой, и как-то раз, когда нужно было собрать деньги на какое-то мероприятие, я сознательно поручила это сделать одному неблагополучному мальчику. Накануне его уличили в краже мелочи из карманов в раздевалке. Его дружно осудили всем классом, и он, хулиганистый и ершистый, ходил понурый, глаза в пол. Мое решение назначить его ответственным всех удивило, а его обескуражило. Вслух мне никто не возражал, но мимикой и жестами — глазами, бровями и губами — всячески давали понять, что мальчик не заслуживает такого доверия. Я помнила его проступок, но внутренний голос шептал, что с педагогической точки зрения я поступаю правильно. Мальчик смотрел на меня расширенными глазами, не веря, что не ослышался. Разумеется, он собрал все деньги до копейки, расправил плечи и ходил гордый от оказанного ему доверия. Мне даже показалось, что хулиганить стал меньше.



Я мало что запомнила из единственного года, проведенного в 1-й школе. Помню удивительного учителя математики, на уроках которого класс всегда шумел, занимался своими делами, но его это нисколько не беспокоило: он самозабвенно писал на доске цифры и корни квадратов, писал неистово, так что мел крошился в его руке, иногда он не слышал прозвеневшего звонка. Он любил цифры великой любовью и презирал людей, которым цифры неинтересны, то есть всех нас. По сути, он и не был учителем, на нас смотрел невидящим взглядом, ему и в голову не могло прийти, что мы просто ничего не понимаем в истории его любовного общения с цифрами.

Я чувствовала себя одинокой: новых друзей не завела, со старыми связь прервалась. Училась я в первую смену, но торопиться после школы было некуда, так что я оставалась в пионерской комнате — делала там уроки, читала, играла сама с собой и только потом шла домой. И однажды, так же поздно вернувшись, я застала дома огорченную маму и молодую пару актеров, ее друзей, приглашенных отметить мой день рождения. Они испекли пирог и ждали меня уже очень давно — я же про свой день рождения совершенно забыла.

После пятого класса я впервые в жизни сдавала экзамены. Это было очень страшно, а на первый экзамен я вообще пошла больная, с температурой, потому что «как же можно пропустить»!

Помню, что в помещении новой школы на период каникул открывали «летнюю школу» — с полным проживанием и питанием. Я один месяц в ней жила, и однажды нам на полдник дали по кусочку торта «Наполеон». Это был любимый мамин торт! Я отпросилась домой на один день и бежала, стараясь доставить в сохранности кусочек «Наполеона», молила Бога, чтобы не помять и застать маму дома. Мама оказалась дома, я вручила торт, и она была счастлива. Я сидела, смотрела, как она его ест, и тоже сияла от счастья. Привычка радовать маму вкусненьким осталась у меня на всю жизнь. Когда у меня у самой уже была дочь и мама к тому времени переехала в Москву, вкусненькое я покупа-

ла и маме, и дочке. Дочка, съев свою долю, через какое-то время покушалась на бабушкину и обижалась, что я ей этого не разрешаю. Она спрашивала: «Ну почему нельзя? Я же маленькая!» Я объясняла, что у нее вся жизнь впереди и вкусностей, Бог даст, тоже будет немало, а бабушкина жизнь уже в основном позади, и горечи в ней было очень много, а сладостей не было вовсе.

Помню, как, заканчивая первую четверть шестого класса, я пришла в школу в последний раз попрощаться: мы с мамой покидали Кривой Рог и уезжали в солнечный Узбекистан, в город Коканд. По дороге домой я видела, как, прячась за ларьками, провожал меня смешной, ушастый, рыжий мальчик по имени Вова Тихоход. Он был влюблен в меня. Мое же сердце оставалось совершенно свободно, и я уезжала легко: за все шесть с небольшим лет жизни в Кривом Роге никто из девочек и мальчиков не смог занять в моем сердце места самого первого друга, Богдана Красноплахтича.



# Отрочество

## Коканд: другая культура

**И**так, приехали мы с мамой в Коканд и снова поселились прямо в театре. На сей раз нам выделили прекрасную светлую комнатку с отдельным входом и даже с небольшим двориком, где стояли старые декорации, выставленные на улицу за ненадобностью. Город Коканд очень теплый — теплый до глубокой осени. А еще это очень интересный город. Он поделен на две части. В современной — театр, старинная школа, бывшая гимназия, парк и красивые административные здания. Старый город представлял собой пространство со множеством одинаковых, очень узких улочек с высокими заборами по обеим сторонам. Заборы из глины бежево-красного цвета — тоже совершенно одинаковые. Отличали их только номера домов и названия улиц, которые иногда писали от руки большими буквами прямо на деревянных дверцах, а иногда прибивали ржавеющие жестяные указатели. Попасть с улочки за дощатую дверцу-калитку и увидеть, что же там скрывается, было совсем непросто. Если ты постучишь, тебе не откроют, надо быть или знакомым, или приглашенным.

За Старым городом располагался большой базар (шук) — шумный, крикливый, разноцветный. По нему сновали ишаки, впряженные в арбу. Арба — это наша телега, только укороченная и на высоких колесах. А ишак — это осел в чистом виде, ничем, кроме названия, от осла не отличается, и характер у него тоже ослиный. Сама была свидетелем,

как двое мужчин пытались сдвинуть с места ишака, запряженного в арбу, но тот уперся и никак не хотел двигаться. Ишак перегородил дорогу потоку других ишаков и людей, и каждый, кто обходил или объезжал затор, давал советы, как заставить упрянца повиноваться, но ишак стоял насмерть.

На арбе или просто на тряпке, постеленной прямо на землю, раскладывался разнообразный товар, вперемешку, без всякой системы: ковры, виноград, сушеный сыр, курага, изюм, мука, сахар, обувь, айва, бараны, куры, яйца, зеленая редька, ткани, рис... Тут же в тандыре пекли самые вкусные в мире самсы и лепешки. Тандыр — это огромный, высокий, пузатый глиняный горшок с широким горлом, через которое на горячие стенки горшка и прилепляют тесто. Разогревается горшок на костре. Позже я узнаю, что и плов на большое число гостей готовят тоже в нем.

Новая школа оказалась красивым старинным двухэтажным зданием, чистым и ухоженным. Приняли меня радушно, я без труда влилась в коллектив и даже довольно быстро подружилась с девочкой из класса. Она была очень маленького роста, и звали ее как куколку: Ляляша. Так она назвалась, когда пришла в первый класс, так Ляляшей и осталась и для детей, и для учителей. Как звали ее на самом деле, никто не знал и не интересовался. Учителя ее любили, училась она на пятерки. У нее была какая-то часть узбекской крови, и жила она в Старом городе. Одевалась, как все мы, а вот узбечки в основном ходили в национальных костюмах: платьца, длинные узкие штанишки до щиколотки и тюбетейка на косичках. Косичек наплеталось много, волосы у девочек-узбечек длинные, густые и черные. Впрочем, узбекские дети в нашу русскую школу не ходили, а русские не жили в Старом городе. У Ляляши получались лишь две тощих косицы, и она отличалась страстной любовью к национальной кухне. Ляляша и познакомила меня с такой вкуснотой, как самса с рынка, и научила варить шурпу — плов без мяса. Иногда после школы она приглашала меня домой, там мы делали уроки, прежде чем бежать на рынок есть самсу. Так, пользуясь знакомством с Ляляшей, я впер-

вые попала за заветную дверь в глухом глиняном заборе. За дверью-калиткой оказалось обширное дворовое пространство перед маленьким домиком-мазанкой, под ногами — земля, посередине просторного двора — дерево. И больше ничего. Мы сразу проходили в Ляляшину комнату, и потому мне ни разу не удалось увидеть ее родных, только услышать: дом казался оживленным. Комната Ляляши была обставлена вполне по-европейски: кровать, шкаф для одежды, стол, два стула и полка с книгами. Я даже немного разочаровалась: мне казалось, за забором должен возникнуть какой-то необыкновенный мир, раз он так надежно спрятан от посторонних глаз...

Однажды Ляляша пришла в школу в белоснежных кожаных туфельках, носки которых были украшены резным узором. Я не могла отвести глаз от этой удивительной красоты, и Ляляша царственно заявила, что раз я ее подруга, она может отвести меня к их соседу, и тот сошьет мне такие же. Спросив у мамы, могу ли сшить себе туфли, и получив согласие, я отправилась с подругой в Старый город. Сосед жил неподалеку от Ляляши, был о нашем приходе заранее предупрежден, и, когда мы пришли, дверка-калитка перед нами открылась. Я увидела уже совсем другой мир, не похожий на Ляляшин, в совершенно узбекском стиле: здесь вся жизнь проходила во дворе, пространство перед домом тоже было обширным, но заполненным: посреди — небольшой фонтан, ярко украшенный цветными стеклами и камнями; рядом — высокое дерево, а в его тени — широкий деревянный топчан на четырех крепких ножках, огороженный с трех сторон резными панелями, не то ложе, не то стол, а скорее и то и другое, поместиться на нем могли несколько человек. Топчан был покрыт ярким ковром, и позже я узнала, что на нем действительно и спят, и едят: ночью спят, днем едят — ставят блюдо с едой посередине, все едоки забираются с ногами без обуви на топчан, садятся вокруг, скрестив ноги, и едят. Женщины тоже так садятся: они под платьем всегда носят длинные брючки, и им такая поза привычна и удобна.

Я еще застала, как по улицам и рынку Коканда ходили женщины в парандже. Паранджа у них тяжелая, надевается на голову, как купол, сама она длиной до середины икры, под ней юбка в пол, а спереди паранджа состоит из плотной сетки из ниток, похожих на тонкую леску. Женщина через нее видит хорошо, но разглядеть ее невозможно. Весь этот наряд еще и черного цвета. Цвет меня удивлял: мужчины-узбеки тоже часто ходили в черных халатах, да еще и на вате. В Узбекистане жаркий климат, и мне казалось, что при жаре предпочтительнее белый цвет, но когда я спрашивала, почему они в черном, мне отвечали: потому что жарко.

Сосед Ляляши стелил на крыше домика светлые простыни и сушил на них белые, круглые, величиной со средний пельмень шарики. Это был особого сорта сухой сыр. Вкус его мне тогда совсем не понравился: много позже, уже в Москве, я распробовала этот необычный сыр и оценила его по достоинству.

По двору сновали ребятишки разных возрастов, и за ними приглядывали две женщины, старая и молодая, обе одетые ярко и обе без паранджи.

Увиденное сильно меня впечатлило, захотелось узнать, как же у них все устроено внутри дома. Но в полной мере любопытство удовлетворить не удалось, нас сразу провели в комнату, где пахло кожей и хранились какие-то сапожные принадлежности. Мужчина средних лет, хозяин дома, был польщен, что русская девочка захотела носить его изделие, и вел себя доброжелательно. Он снял мерки и пообещал, что через неделю все будет готово. И действительно: через неделю я получила красивые, удобные, легкие белые туфельки.

## Мои собаки

**В** Коканде у меня появилась первая в жизни собака — щенок черной масти. Я подобрала его на улице, и мама разрешила его оставить. Назвала я щенка Бобка, был он смешной и милый, в основном мы играли с ним в «соб-

ственном» дворе, но однажды Бобка пропал. Я боялась, что он застрял где-нибудь в театральных декорациях, облазила весь театр, но малыш на мои призывы не отзывался. Тогда я стала думать, что он ушел от меня, обидевшись: накануне я отшлепала его за провинность — Бобка стащил с плиты кастрюлю с шурпой, перевернул и, разметав рис по всей комнате, неплохо пообедал. Ворота в нашем дворе не доходили до земли, и мама считала, что Бобка или сам вылез на улицу, или кто-то его приманил и, может быть, забрал себе. Я так горевала о пропаже и так корила себя, что отшлепала Бобку, что мама принесла мне другого щенка, тоже увидев его где-то на дороге. Это была девочка — пушистая, бежевого окраса с черными подпалинами. Назвали мы ее Найдой и, конечно, тоже очень любили, но и с ней мне пришлось расстаться, когда театр в Коканде расформировали и нам пришлось переезжать в Фергану. В отчаянии я искала для собаки нового хозяина: взять с собой мы ее не могли, сами не знали, где придется жить. Но и бросить собаку на произвол судьбы не могли тоже, а в Узбекистане не принято было держать собак — ни дома, ни во дворах. Нашу Найду никто не хотел брать, но в конце концов повезло: здание театра передали Дому культуры, и пришел туда работать сторожем какой-то старичок. Я его подстерегла у входа и, особо ни на что не надеясь, спросила, не возьмет ли он у меня щенка. А старичок вдруг сказал: «Возьму! Сторожить-то в основном ночью надо. Мне собака пригодится». С одной стороны, я успокоилась: собака окажется в хороших руках. Но с другой стороны — как расстаться с любовью? Расставание было слезным. Я целовала и обливала слезами ее черный нос, а она облизывала мое мокрое лицо.

В Фергане я очень скучала по Найде. Когда через год появилась возможность, я поехала на два дня в Коканд, чтобы ее увидеть, и, оказавшись у Дома культуры, не узнала свою любимицу: Найда вымахала в громадную собаку — помесь овчарки с дворняжкой. Но печаль в том, что и Найда меня не узнала, и это было ужасно обидно — тем более что я много читала об удивительной верности собак. Я была уверена,

что собаки помнят своего первого хозяина, и представляла нашу встречу совсем по-другому. Я представляла, что, едва завидев меня, услышав мой голос, Найда бросится, виляя хвостом, оближет мое лицо и расскажет на своем собачьем языке, как она скучала, как долго меня ждала. Но Найда проявила ко мне оскорбительное равнодушие. Она позволила себя погладить, а потом зевнула и легла у ног хозяина — даже не шевельнув хвостиком.

## Нешуточные страсти

**В** Коканде я постепенно взрослела, наблюдая за жизнью и ее неожиданными поворотами. Случались на моих глазах истории, которые не просто удивляли, а, можно сказать, потрясали.

В нашем театре работала немолодая пара актеров, была у них взрослая дочь, очень спокойные, милые, уравновешенные люди. И вдруг жена и мать, вроде бы вполне благоразумная женщина, влюбляется в молодого водителя театрального автобуса. Да как! До потери разума! Скандал в благородном семействе! Муж в отчаянии умоляет ее опомниться, дочь плачет, театр... замер. Водитель жениться не собирается: она ему в матери годится, но роман продолжает. Муж и дочь по очереди ходят на поклон к водителю и умоляют оставить в покое жену и маму, тот лишь посмеивается. Между тем главная участница скандала официально разводится с мужем, снимает себе отдельное жилье на свою небольшую зарплату и по-прежнему глаз не сводит с возлюбленного. Он же через какое-то время начинает тяготиться шумным романом, муж согласен принять изменницу обратно... Но она живет как во сне, не видит реального положения вещей, не нарадуется на своего избранника, а избранник наглет, обращается с ней все хуже и хуже. Когда дело дошло до рукоприкладства, театр вздрогнул в бессильном желании разрешить эту ситуацию и предпринял все, что мог: водителя уволили, но и это не помогло, полный драматизма роман



продолжался. А через какое-то время влюбленная актриса, ничего и никому не сказав, исчезла из города. Просто тихо уехала. Покинутый и совершенно измотанный муж слег в больницу, дочь осталась с отцом...

Следующая любовная история – скорее трагикомичная, но тоже запоминающаяся. В театре гримерным цехом завела очень худая, совершенно седая, беззубая женщина с вечной сигаретой во рту, Зоя Константиновна. Бедная, как церковная мышь, круглые сутки носила она выцветший халат и стоптанные тапки. Было ей лет шестьдесят с небольшим, и семья ее состояла из взрослой дочери около сорока, трех разновозрастных внуков и ненавистного зятя. В театре работала только Зоя, зять устроился где-то в сфере обслуживания, а дочь Лиза не работала вовсе – занималась детьми. В доме постоянно стояли крик и плач, и Зоя своим прокуренным голосом умоляла дать ей покоя. Часто она приходила к нам, чтобы посидеть в тишине. Зоя очень подружилась с мамой, вечно жаловалась ей на жизнь и время от времени задавала риторический вопрос: «Ирочка, за что?» Лиза внешне была очень похожа на свою мать, но характер у нее был скандальный, ничего делать она не хотела и конфликтовала и с матерью, и с мужем, и с детьми, даже малыши.

Зоя рассказала нам, что судьба ее давно свернула не в ту сторону. Она окончила гимназию здесь, в Коканде, прекрасно говорила по-французски, и у нее случилась необыкновенная романтическая любовь, которая живет в ее душе до сих пор, и только она и держит Зою на этой земле.

Они с Михаилом, так звали Зоиного избранника, были одногодками восемнадцати лет, пылали страстью, вынашивали серьезные планы, но вмешался в их судьбу злой рок: Мишины родители совершенно неожиданно решили эмигрировать из Коканда прямо во Францию, у них там обнаружили родственников. Миша плакал и ехать отказывался, Зоя плакала и говорила Мише, что без него умрет... Но, несмотря на яростное сопротивление сына, Мишины родители и сами уехали, и увезли с собой Зоино счастье. Ка-

кое-то время они с Мишей переписывались, но постепенно переписка прекратилась, окончательно разбив ей сердце. Зоя вышла замуж, родила дочь Лизу, мужа не любила, продолжала любить Мишу. С мужем она разошлась, дочка похожа на нее только внешне, а характер, как у отца — «Ирочка, за что?»

Однажды Зоя принесла нам старинную фотографию, где они с Мишей вдвоем. С фотографии смотрели на нас прелестный молодой человек и очень хорошенькая белозубая девушка, правда, признать в ней Зою было сложно. Глаза их лучились счастьем и любовью. Мы с мамой кивали, удивлялись, восхищались и сочувствовали. Я была обязательным участником разговора и главным сочувствующим: в моей жизни вопросы любви начинали выходить на передний план. Я верила Зое беспрекословно и, разглядывая ее морщинистую шею и беззубый рот, думала, что все-таки великая любовь существует, и как трагически несправедливо, что они с Мишей не поженились. Мама считала, что кое-где Зоя подвирает, особенно в той части, когда говорит, что Мишель — теперь он Мишель — до сих пор любит только ее. Я же верила Зое безоговорочно. Изредка, по праздникам, они шлют друг другу открытки, и Зоя знает, что он женат: ну и что? Она тоже была замужем. Он между тем сделал неплохую карьеру, стал ученым, у него дом под Парижем, но всю жизнь он любил и любит только ее — Зою. Я спорила с мамой и говорила, что Зое уже за шестьдесят: ей незачем врать! И была уверена, что только великая любовь дает ей силы выжить в этом бедламе.

И вдруг однажды к нам прибегает трясущаяся Зоя с открыткой в руках. Там написано черным по белому, что Мишель через месяц будет в Москве на какой-то научной конференции, а после планирует приехать в Коканд, где был так счастлив, и хочет повидаться в Зоей! Ага! Значит, все правда! Зоя тряслась сама и в панике потрясала над собою открыткой: где его принимать? В чем? Как?!

Историю необыкновенной Зоиной любви знал весь театр, и у всех она спрашивала совета. Набрал советов — и

денег в долг, — Зоя развела бурную деятельность. Месяц — это совсем короткий срок, справедливо считала Зоя. За это время она хотела сделать верхнюю и нижнюю вставные челюсти, сшить несколько костюмов и блузок, купить туфли на каблуках, пару-тройку красивых *ночных рубашек*, *нижнее белье* и *новые простынки с пододеяльниками*. Зоя договорилась с кем-то из коллег, что на время приезда Мишеля они съедут к родственникам и предоставят квартиру Зое, будто эта квартира ее. И в самом деле: не в ее же крикливом жилище принимать такого гостя!.. Обо всем договорившись и все рассчитав, Зоя отослала другу телеграмму, что ждет его, что живет она теперь одна и будет рада его принять, но переехала буквально только что и не знает, как работает почта на новом месте, так что на всякий случай телеграмму о дате прибытия следует слать на адрес дочери.

Дальше произошло следующее: конференция в Москве закончилась на три дня раньше, и Мишель решил не терять время зря. Он приехал в Коканд без телеграммы, поселился в гостинице и пришел к Зоиной дочери, чтобы узнать нужный адрес. Позвонил в дверь, за которой слышался подозрительный крик. Ему открыла Лиза, продолжавшая орать на детей, сидевших у двери на горшках. На неуверенный вопрос гостя: «Зоя — ты?..» — Лиза гаркнула: «Мама!» И скрылась... А мама вышла в прихожую в своем линялом халате, стоптанных тапках и без зубов: она успела сделать и верхние, и нижние, но только привыкала к ним и на ночь, естественно, снимала... «Ирочка, за что?!»

Зоя прибежала к нам, рассказала о случившемся казусе и сообщила о своих последующих действиях. Она уже была при зубах, которые ее не особенно красили и сильно затрудняли речь, в новом костюме и блузке, в туфлях на каблуках и с купленной бутылкой вина в руках. Выяснилось, что она не собирается сдаваться: она пригласила возлюбленного на свидание в «свою новую квартиру». Кокетливо, как ей казалось, улыбаясь страшным оскалом новых зубов, Зоя говорила: «Кто знает? Все может быть! Я предложу ему переехать из отеля ко мне!»

Через день Зоя, в знакомом халате и тапках, без зубов, снова пришла к нам и поведала, что возлюбленный переезжать к ней из отеля категорически отказался (к тому же он совсем не пьет), что они мило повспоминали свое прошлое, посмотрели Зоины фотографии и сегодня утром он уехал, хотя мог бы побыть еще целый день. Зоя горестно восклицала: «Ирочка, за что?» Но все-таки человеком она была от природы веселым, а главное — остроумным. Шок от лихорадочной подготовки к свиданию, а потом и от самого свидания миновал, и Зоя оправилась от потрясения. Громко смеясь, она в лицах показывала нам и орущих детей на горшках, и Мишелево неуверенное «Зоя — ты?..», и свою собственную выходную арию в халате и без зубов. Конечно, за громким смехом еще скрывалась горечь и остались Зое на память об этой встрече немалые долги, а в нашу с мамой жизнь навсегда вошло выражение «Ирочка, за что?», которое мы использовали в любых казусных ситуациях.

## Первая любовь

Летом, как всегда, я отправилась в лагерь — и первый раз в жизни влюбилась. В лагере был горнист Витя: моего возраста, очень красивый смуглый мальчик с прекрасной фигурой и большим музыкальным талантом. Он покорило мое сердце, а я покорила его. В чем выражалась наша любовь? В обменах взглядами во время зарядки и утренней линейки, а вечерами иногда — в танцах друг с другом. Танцевали мы не каждый раз, а именно иногда, чтобы никто нашей любви не заметил. Еще мы демонстрировали свои чувства во время игры в почту. Происходило это тоже на танцах. Ключки бумаги метили порядковым номером, было их столько, сколько танцующих, бумажки складывались в панамку, а потом мы все тянули бумажку и прикрепляли ее к одежде на видном месте: на груди или на рукаве. После объявлялся танец, и, хотя уже темнело и разглядеть цифру оказывалось непросто, у всех заинтересованных лиц всегда

все получалось. Записки писали карандашом, как и цифры. Содержание было разное: шутка, розыгрыш, а иногда и признание в любви! Главное правило игры – все записки должны быть без подписей. Иногда хитрили и все-таки ставили в конце записки свой номер почты, но признания в любви не метили никогда. Очень уж было страшно обеим сторонам обнаружить себя. Но за те два часа, что длились танцы, мы ухитрялись узнать почерк, все проанализировать и, руководствуясь одним нам ведомым доказательством, танцевать с избранником с чувством истинного счастья. Танцевали тогда очень целомудренно, на почтительном расстоянии: рука в руке, рука девочки на плече у мальчика, рука мальчика на талии у девочки. Никаких сальностей, никаких бранных слов и тем более никаких «обнимашек»: все очень строго, в полном молчании – только внутри все дрожит, сердце замирает, и порой вы едва-едва смеете поднять друг на друга глаза...

Новые, неведомые чувства полностью захватили меня, и смена пролетела как один миг. Но я оставалась и на вторую смену, и Витя-горнист – тоже, чему я втайне очень радовалась. Еще на вторую смену должна была приехать недавно появившаяся у меня подруга Светлана, племянница одной из маминых коллег, милая, интеллигентная девочка с длинной русой косой и большими серыми глазами. Жила она в Красноярске, и родители отправили ее на лето к тете в теплый, солнечный Узбекистан. Тетя же, узнав, что я в лагере, подумала, что нам вдвоем будет веселее, чем Светлане одной со взрослыми.

Прежде чем я уехала в лагерь, за месяц знакомства я успела полюбить Светлану. Она была старше меня на год, а год разницы в подростковом возрасте – немало, и мне было с ней интересно общаться. Теперь я ждала ее с нетерпением и сразу же, как только она приехала, поделилась своим секретом и издали показала свою тайную любовь. Она мой выбор оценила, а я, как старожил, посвятила ее в тонкости нашей лагерной жизни.

Неожиданно у меня разболелось ухо, и лагерный врач велел каждое утро приходить в медпункт капать капли, а днем носить, не снимая, повязку на оба уха вокруг головы. Повязка завязывалась так, что бантик ее торчал на макушке и напоминал ушки какого-то зверька. Конечно, это меня не красило, но на первые в новую смену танцы я все-таки пошла, хоть и смущалась. Я познакомилась подружку с правилами и тайнами почты, и игра началась. Новая смена играла в почту вдохновенно, но записок со знакомым почерком я на этот раз не получила, да и на танец меня никто ни разу не пригласил. Вообще никто. На следующее утро ни на зарядке, ни на линейке моя любовь в мою сторону не смотрела. Как назло, ухо не проходило, но на следующие танцы я решила повязку снять, в глубине души надеясь, что все несчастья от нее. Светлана, как старший товарищ, горячо отговаривала меня, потому что вечерами ветрено. «Но *он* же не написал мне ни одного письма и не посмотрел в мою сторону ни разу! — горестно возражала я. — И это все из-за дурацкой повязки, потому что, конечно, я в ней «некрасивая»! Словом, повязку я сняла и пришла на танцы «красивая». Я получила много писем, но со знакомым почерком — ни одного. Я много танцевала, и мой любимый — тоже, но не со мной.

Ночью я рыдала на плече у подружки, а утром получила нагоняй от врача — уху стало хуже. Я надела ненавистную повязку и не пошла в тот вечер на танцы. Светлана моя пошла одна, а когда возвратилась, сказала, что, похоже, мой избранник решил переключить свою любовь на нее. Перебрав почту, которую она получила на танцах, мы нашли знакомый почерк, и ее догадка подтвердилась. *Он* писал ей то же, что писал в первую смену мне, и теми же самыми словами!

Этого нельзя было пережить. Я заплакала навзрыд и рыдала всю ночь. Светлане *он* совсем не нравился, и как себя вел, ей не нравилось тоже. Она, совестливая и правильная девочка, очень мне сочувствовала, чуть не плакала вместе со мной, говорила: «Забери его себе, мне он не нужен!» Легко сказать — «забери». А как? Тем более что утром, и на

зарядке, и на линейке, я в его сторону больше не смотрела и вообще делала вид, что ничего не произошло. Гордость моя была задета сильно.

Я перестала ходить на танцы, еще крепче привязалась к Светлане, видя, как она искренне переживает за меня и возмущена вероломством моего любимого. Но хотела я только одного: чтобы у меня перестали болеть уши и скорее закончилась смена. Я ходила на зарядку, на линейку, на завтраки, обеды и ужины, но я все делала автоматически, словно впала в анабиоз, и еще долго заживляла душевную рану.

Смена закончилась, мы со Светланой вернулись домой, условившись никому не говорить ни слова о моем любовном фиаско. Так у меня появилась первая тайна от мамы — и сохранилась она на всю жизнь: при всей моей любви к маме, мои личные переживания я всегда держала от нее в секрете.

## Одиночество

**Т**еатр в Коканде решили расформировать. Часть актеров переводили в Фергану, но только малую часть. Ферганский драматический театр считался на порядок выше, там сложился успешно действующий коллектив, и в Коканд приехала комиссия посмотреть спектакли и отобрать достойных актеров. Отбирали придирчиво. Маму и еще трех-четырёх артистов выбрали, а судьба остальных театральных работников осталась в их собственных руках.

Мама была хорошей актрисой. Ее на сцене я помню отлично — даже в те годы, когда я была еще совсем маленькой. Мама держала меня подальше от театра, справедливо считая, что детям за кулисами болтаться незачем: но в качестве зрителя в зал мне приходиться разрешалось. Я помню, как она была хороша и задорна в спектакле «С любовью не шутят», как худа и измождена, играя узницу немецкого лагеря в какой-то пьесе про войну. Помню, как зал вместе со

мною ахнул, когда немец выбил кружку из рук изможденной мамы. Помню ее сгорбленную спину, исчезающую в темноте.

А еще мама отлично рисовала. Все куколки, нарисованные мне в детстве, были очень хороши собой, а платица к ним — восхитительны. Мама прекрасно гримировалась и могла нарисовать на своем лице и роковую красавицу, и глубокую старуху, а в жизни никогда не пользовалась косметикой — красила только губы.

Маму отобрали в Ферганский театр. Ехать нужно было в середине сезона, обустроившись там, смотреть спектакли, участвовать в них по мере необходимости и начинать работать в новых. Меня пришлось на время оставить в Коканде, чтобы я закончила четверть. Просто так оставить ребенка мама не могла, так что договорилась с коллегой-актрисой, которую в Фергану не взяли, что две недели до окончания четверти я поживу у нее. Актрису я совсем не знала, она была немолода, накануне похоронила мужа, и весь театр его провожал в последний путь, и зал прощания, и гроб с покойным убрали елочными лапами: дело было в декабре. С тех пор не люблю запаха свежей елки и дома держу искусственную. Актриса с радостью согласилась пригласить за мной: у нее никого не осталось, и живой человек в доме в это тяжелое время представлялся спасением. Да и мама мне сказала, что это по-человечески правильно: я должна поддержать женщину в ее горе. Я, конечно, согласилась, но было мне не по себе.

Муж той актрисы оказался вторым в моей жизни умершим человеком, которого я знала до смерти. Толстый, веселый, с необычным отчеством — Павел Мартьянович. И если друга Даню в гробу я совсем не боялась, то второго покойного боялась очень. Он лежал такой строгий и белый, наверное, его так загримировали, и я испытывала острое, парализующее чувство страха. Признаться маме было стыдно, я все-таки училась в седьмом классе — уже большая.

Переехав на две недели в квартиру его вдовы, я все время видела его вещи и вспоминала его белое лицо в гробу. Я боялась, что он и сам может вдруг откуда-то появиться, как тот волк из моего детства.



Особенно страшно становилось вечерами, когда я оставалась в квартире одна. Куда вечером ходила пожилая актриса, я не знаю. Я зажигала весь свет, какой был в жилище, но это не спасало.

Актриса переживала смерть мужа очень тяжело: они прожили вместе долгую жизнь. Она все время молчала, но ее губы шевелились и что-то беззвучно шептали. Она смотрела сквозь меня и все время перебирала его вещи. Иногда она о чем-то спрашивала, но сразу же уходила в свой невеселый мир, не дождавшись ответа. Я тоже молчала: я не хотела ее беспокоить и как ее поддержать — тоже не знала.

Я неприхотлива в еде и, привыкшая к столовским обедам, ела всегда без капризов. Не ела я только гречневую кашу: мне она казалась горькой. Но именно гречневую кашу, сварив, а потом поджарив на сковородке, предлагала мне эта несчастная женщина все две недели. То, что я практически ничего не ем, она не замечала — заметила моя мама, когда я предстала пред ее светлые очи: отощала я прилично. Но в этой ситуации сказать, что я гречневую кашу не люблю, было совершенно невозможно.

И еще это был первый в моей жизни Новый год без мамы. Я очень по ней скучала. У актрисы стоял телефон, и мама позвонила, чтобы нас поздравить. На вопрос, как я там, я бодро ответила, что у нас все хорошо, а хотелось плакать и кричать, что мне страшно и голодно.

## Фергана

**Н**о наконец мои мытарства закончились, и я поехала к маме!

Фергана! Большой и прекрасный город в центре Ферганской долины, утопающий в садах и парках. Когда я увидела Фергану, мне стало понятно, что покинутый нами Коканд — это почти деревня. Театр стоял на площади в самом центре города, перед ним располагался прекрасный памятник генералу Скобелеву, который прославился в этих краях ис-

ключительной храбростью, сравнимой с храбростью самого Суворова, и получил должность военного губернатора Ферганской области.

В помещении театра работали две труппы: русская и узбекская, три дня одна, три другая, один день — выходной. Директором русской труппы был отец прекрасного актера Саши Абдулова, а его мама служила заведующей гримерным цехом. Сам Саша тогда был малышом лет пяти, и мы его в свои дворовые игры не брали, но у него были два брата, и средний, Роберт, как раз годился нам в товарищи.

Когда Саша Абдулов вырос, закончил институт и стоял на пороге блестящей карьеры — дело было в середине 70-х, — он пришел в наш театр Пушкина к своему сокурснику и увидел меня. Саша спросил, помню ли я его, и я честно ответила, что нет. И, кажется, этим его обидела: он-то меня помнил хорошо, я уже была большая, а мне трудно было признать в красивом, высоком молодом человеке того сопливого малыша. И только когда Саша напомнил мне о своем среднем брате, я припомнила и его...

Разместили всех актеров в большом актерском доме, тоже поделенном на две части: одна половина для узбекской труппы, другая — для русской. Поразительным оказалось то, что в русских актерских семьях было по одному ребенку, максимум — два, а у актеров-узбеков по пять-шесть ребятишек. Одна соседка спросила меня: «Вас мама сколько принесла?» — и я не могла ответить, потому что совершенно не понимала вопроса. Долго пришлось выяснять, кого это — *вас* и *куда* принесла. Когда я поняла, что речь шла о том, скольких детей мама родила, я так смеялась, что никак не могла остановиться. У нас такой вопрос мог относиться только к хозяину потомства кошки или собаки. Я понимала, что не все соседи хорошо говорят по-русски, но при виде этой соседки меня неизменно разбирал смех. Выяснилось, что их мама «принесла» девять человек, в то время как моя мама только меня одну. Думаю, что ей тоже было смешно и непонятно: как так — «одну»?